



Лицей

третий
выпуск 2019



LOTTE
HOTELS & RESORTS



LOTTE
KF RUS



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ "ЛИЦЕЙ"
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

**Оксана Васякина
Антон Азаренков
Анастасия Разумова
Александра Шалашова
Никита Немцев
Павел Пономарев
Лицей 2019. Третий выпуск**

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44962415

*Лицей 2019. Третий выпуск: Издательство АСТ : Редакция Елены
Шубиной; М.; 2019
ISBN 978-5-17-117522-1*

Аннотация

И снова 6 июня, в день рождения Пушкина, на главной сцене Литературного фестиваля на Красной площади были объявлены шесть лауреатов премии “Лицей”.

В книгу включены тексты победителей – прозаиков Павла Пономарёва, Никиты Немцева, Анастасии Разумовой и поэтов Оксаны Васякиной, Александры Шалашовой, Антона Азаренкова.

Предисловие Ким Тэ Хона, Владимира Григорьева, Александра Архангельского.

Содержание

Обращение Генерального директора АО	5
“ЛОТТЕ РУС” г-на Ким Тэ Хона	
Владимир Григорьев	7
Александр Архангельский	9
Павел Пономарёв	20
Беглец	21
Пожилой мальчик	76
Сарабанда	83
Сплин	92
Волшебство приходит	124
Расстрига	152
Окно напротив	160
Дорога домой	166
Мышиные песни	180
Вениамин	186
Конец ознакомительного фрагмента.	191

Коллектив авторов

Лицей 2019. Третий выпуск

© Пономарёв П., Немцев Н., Разумова А., Васякина О.,
Шалашова А., Азаренков А.

© Ким Тэ Хон, предисловие

© Григорьев В., предисловие

© Архангельский А., предисловие

© Бондаренко А., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

*** * ***

Обращение Генерального директора АО “ЛОТТЕ РУС” г-на Ким Тэ Хона

Уже третий год проходит вручение Литературной премии “Лицей” имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов. Я хотел бы поблагодарить всех, кто решился представить свои произведения на суд нашего жюри и публики. Радует, что молодые и талантливые люди смело и бойко пробуют себя в литературе! Спасибо вам за ваш труд! Данный сборник – подтверждение того, что русская литература продолжает развиваться и дарить нам новых писателей и поэтов. И хотя в этот сборник вошли только лауреаты, я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть и услышать имена остальных молодых писателей и поэтов.

В этом году география поступивших работ была обширнее, чем в прошлом, что непременно радует и одновременно удивляет, как много молодых, начинающих русских писателей и поэтов по всему миру. Я очень надеюсь, что участие в нашем конкурсе будет хорошим заделом для всех участников и дальше продолжать творить и дерзать.

Я искренне благодарен председателю Наблюдательного совета Сергею Степашину, специальному представителю Президента Российской Федерации по международному

культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, Заместителю руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимиру Григорьеву, Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Корея **Ли Сок Пэ** за помощь в развитии премии, всем членам жюри и Совету экспертов за их усилия в выборе лучших произведений.

Мы будем продолжать стремиться к тому, чтобы наша премия процветала и развивалась, а также стала бы одной из престижных литературных Премий в России. Прошу вас и впредь оказывать премии “Лицей” внимание, поддержку и любовь.

Генеральный директор АО “ЛОТТЕ РУС”

КИМ ТЭ ХОН

Владимир Григорьев

Третья: знак взрослости

Не секрет, что число ТРИ, может быть, самое важное и в творчестве, да и в любом культурном проекте. Третий роман, третья книга, ТРЕТИЙ СЕЗОН премии “Лицей” имени Александра Пушкина. Это уже знак взрослости. Пусть даже речь идёт о претендентах на звание лучшего молодого русского писателя, главное – премия живёт и РАБОТАЕТ. Уже четыре лицеиста-лауреата прошлых лет выпустили отдельные книги – Кристина Гептинг, Булат Ханов, Константин Куприянов, Евгения Некрасова, а роман последней “Калечина-Малечина” вошёл в список финалистов премии “Большая книга”.

Объявляя победителей 2019-го, члены жюри Александр Архангельский, Дмитрий Воденников, Борис Куприянов, Валерия Пустовая, Дарья Суховой отметили, что все прозаики демонстрируют разные литературные стратегии: явное тяготения к биографизму (Павел Пономарёв “Мышиные песни” – 1-е место), литературная игра, гротеск (Никита Немцев “Ни ума, ни фантазии” – 2-е место), прямое высказывание с мощной рефлексией на тему трудного подростка (Анастасия Разумова “Дрожащий мост” – 3-е место).

Очень разные и победители-стихотворцы: Оксана Васяки-

на – 1-е место (“Для меня поэзия – то, что меняет представление о поэзии”), Александра Шалашова – 2-е место (“Никого у нас не было, только мы, а теперь – одна память”), Антон Азаренков – 3-е место (“Когда с неба вопросительно промывает сирена, / нужно будет отвечать за слова, / многочисленные слова – / отвечать не словами”).

А что общее: тяга к свободе, энергия противостояния повседневности, выяснение отношений с миром и самим собой. Так и бывает у молодых – но у каждого свой способ расстановки букв.

Наша благодарность южнокорейской компании *LOTTE* и всем неравнодушным отечественным гуманитарным институтам, которые неизменно поддерживают “Лицей” и лицестов. Кстати, первый сборник лауреатов премии “Лицей” вышел в этом году на корейском языке.

*Заместитель руководителя Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям*

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

Александр Архангельский

Герои третьего сезона

Эпоха у нас прагматическая, приходится отвечать на неприятные вопросы, которые когда-то казались неприличными. Например, а стоит ли читать эту книгу? И если да, то зачем? Пожалуйста, по пунктам. Увы, в этом есть своя логика. Писатели предельно жёстко конкурируют за свободное время читателей: мало написать неплохо и даже хорошо, нужно что-то ещё. Либо полный блеск и восторг. Либо глубина, которая не снилась предшественникам. Либо густой материал. Либо прорыв в литературное будущее.

Когда речь заходит о сборнике работ молодых авторов, победителей третьего сезона премии “Лицей”, само собой приходит слово “поколение”. Как же! Мы ведь встречаем новое – славное, с большим будущим – писательское поколение. В ход идут готовые сравнения: Ахматова родилась в 1889-м, Пастернак – в 1890-м, Мандельштам – в “девяносто одном ненадёжном году”, Цветаева – в 1892-м, Маяковский – в 1893-м. Лидеры новых генераций рождаются подряд, вот и сегодня...

На самом деле поколения в литературе складываются редко и почти случайно. Вот примеры – вразброс. Никакого поколения “семидесятников” в XX веке не было, как ни под-

талкивали критики навстречу друг другу Руслана Киреева и Людмилу Петрушевскую, Анатолия Кима и Александра Вампилова. А предвоенное поколение – “сороковые, роковые” – было. Да, потом они пошли разными путями, Слуцкий очень далёк от Самойлова, а Самойлов – от погибших ифлийцев. Но всё-таки они похожи на писательское поколение. А что такое генерация 1990-х – неясно. А шестидесятников особо и представлять не надо; все, кажется, в курсе.

При этом в состоявшееся поколение, как в детскую песочницу, берут не всех ровесников: “а вас с ребёнком здесь не стояло”, как написал Андрей Вознесенский. Великий русский писатель Владимир Маканин был 1937 года рождения. И переводчик, филолог, религиозный мыслитель Сергей Сергеевич Аверинцев – тоже 1937-го. Но кому придёт в голову включать их в славные ряды шестидесятников, в отличие от Битова, Ахмадулиной или Эдуарда Успенского, их одногодков? Маканин и Аверинцев совсем другие, слеплены из другого теста. Не поколенческого.

Вывод из этого прост. Книгу, которую вы держите в руках, нужно читать. Но совсем не потому, что в ней представлено новое поколение русских писателей. Авторы, которых ищет и находит премия “Лицей” вот уже три сезона кряду, никакого поколения (пока) не образуют. А сложится ли оно, или это будут личные, отдельные пути – Бог весть. Зато и премия “Лицей”, и этот сборник дают нечто более важное. Они знакомят с яркими индивидуальностями. С людьми, кото-

рые идут в литературу своими неповторимыми путями. Дают чувство новой литературной энергии. И дарят удовольствие от подлинности. Честное слово, это немало.

Некоторые из победителей предшествующих двух сезонов уже вполне писательски сложились и подтвердили “лауреатскую” репутацию – вспомним хотя бы лауреата первого сезона, прозаика Евгению Некрасову, чья яркая “Калечина-Малечина” в 2019-м вошла в короткий список “Большой книги” и стала частью полноценного литературного пейзажа. Без скидок, авансов и отеческого похлопывания по плечу. Кто-то продолжает искать себя, но так сильно, так мощно, что с изумлением следишь за этим поиском. Недаром в слове “сезон” звучит сериальный отголосок: премия удерживает внимание аудитории, как хороший сериал, не отпуская, сохраняя интерес, выводя на сцену новых и новых героев.

Кто же вышел на неё сейчас, по итогам третьего сезона? Прозу, прямо скажем, читают больше и охотней, но начнём с поэтов; споров в этой номинации (открою тайну совещательной комнаты) было меньше, чем в разделе прозы, где у большинства финалистов был шанс войти в итоговую тройку и консенсус был достигнут не сразу.

Лауреатом стала **Оксана Васякина**, родом из Усть-Илимска, живущая сейчас в Москве. Она давно известна в литературном кругу. Впрочем, и шире – тоже. Васякина демонстративно, резко разрывает с убеждением, будто русский стих предпочитает классические формы. Вопреки тому, что

говорят поэты старших поколений (и особо непреклонно – Александр Кушнер), Васякина дышит стихами как хочет, за-
тягивая в поэзию низовые темы, взламывая и заново соби-
рая ритмы. Что-то есть в её стихах от силы раннего русского
рока – я говорю не о поэтике, скорей об интонации.

*...я не помню какое в сибире лето
но помню страшные ослепительные зимы
и в моих воспоминаниях мать
всегда в заиндевелившем автобусе смотрит
сквозь мутное стекло на дорогу
у неё губы в жирной бордовой помаде
и над губами светлые усики покрыты инеем
она смотрит перед собой
на дорогу*

Разрывает Васякина и с представлениями о границе “по-
этического” и “прозаического”, о природе “женского” нача-
ла в словесности, о гендерном статусе в целом. Её прин-
ципиальный феминизм – не хипстерский, не игровой; это
убеждение, вызревшее и переведённое на современный по-
этический язык. Но если бы она лишь разрывала, отказыва-
лась, преодолевала, а не создавала, утверждала, предъявляла
опыт, то её стихи не вызывали бы такого отклика. А отклик
есть. И отвержение, и приятие сопровождают публикации и
выступления Васякиной; она одна из немногих поэтов (по-
эток?), чьи стихи прорываются к новой аудитории и завоё-

ываают её.

Занявшая второе место **Александра Шалашова** тоже работает с вольными ритмическими конструкциями, тоже отходит от привычного размеренного и как бы уснувшего стиха. Но отходит, как бы сказать, деликатней и мягче; впрочем, она и вообще – мягче. И в картине мира, и в интонациях, и в словах, сквозь которые просвечивает лёгкая (опять же, в её мире почти всё лёгкое) ностальгия:

Я держу в руках книгу семьдесят седьмого года издания

—

*сколько стояло их на полках гэдээровского серванта,
под светом чехословацкой люстры, в комнате,
пахнущей пылью и одеколоном “Шипр”?*

*Я представляю, как они жили – приходили с работы,
ели суп с мелкой яичной лапшой, пересаживали цветы,
вешали занавески, воспитывали сына с дочерью,
слушали,
как ветер мая в открытую форточку
дует.*

Ставший третьим поэтическим лауреатом смолянин **Антон Азаренков** не боится быть куда классичней. Нет, он тоже предпочитает свободный стих, тоже втягивает в лирическую воронку самые разные сюжеты, от бытовых до бытийственных. Но при этом сам его тон, сам его внутренний ритм соотнесены с опытом ближайших предшественников. И это

не традиционализм – просто литературные обстоятельства переменились. Если большинство твоих ровесников работает на грани слома, значит, слом и стал традицией. А обратиться через голову эпохи к высокой норме – всё равно что переступить через конвенцию, проявить ту поэтическую волю, без которой успеха не будет.

*Энциклопедия детских страхов:
меня маленьким мама водила в секту.
Я до сих пор помню этот запах
дешёвой мебели. И все, кто
собирался в обычной двушке за чудесами
к вечеру обговорённой даты,
это толстые жёщины с заплаканными глазами
и какие-то бородатые.
<...>*

*...Ночью душно даже с открытой форточкой.
Из-под курток в прихожей торчат не вешалки, а рога.
Часто-часто по сухой и шершавой жёрдочке
перебирает лапками попугай.*

Кстати, случайная, но важная параллель: не попавшая в итоговую тройку, но заслужившая особого упоминания жюри Снежана Каримова тоже пишет в своей повести “Идущие полем” о детской травме, которая связана с верой родителей. Её героиня растёт в семье, где мать, разочарованная в жиз-

ни, ищет выхода из тупиков среди старообрядцев, и дети рас-
плачиваются за материнский страх и материнскую растерян-
ность. А ставший первым “прозаическим лауреатом” **Павел Пономарёв** из Рубцовска Алтайского края открывает под-
борку рассказов историей бегства автобиографического (как
минимум тесно связанного с автором) героя – из шумного
мира, где человек теряет себя, в глушь, где он себя находит.
А может быть, и не вполне...

Значит ли это, что всё-таки есть очевидные пересечения
и выстраивается общий поколенческий сюжет? Иногда на-
чинает казаться, что – да, выстраивается. Скажем, прозаики,
вошедшие в финал “Лицея”, довольно часто пользуют-
ся схожими приёмами и следуют общим трендам. Во мно-
гих текстах – в том числе включённых в эту книгу – поперёк
торжествующего модерна возникают стилистические “ходы”
советской прозы – и “деревенщиков”, и трифоновской шко-
лы. И это не вторичность, не повторение задов, а свободное
литературное решение.

Ещё один повод для сомнения в начальном тезисе статьи –
характерное распределение литературных сил. Словно кто-
то властно поделил писателей по группам: **либо** яркая сло-
весная игра, **либо** глубоко освоенный жизненный матери-
ал. Обычно бывает иначе; хитросплетение фабулы и сгуще-
ние стиля сочетаются с погружением в современность, в те
пласты действительности, которые не проработаны предше-
ственниками. А здесь – ставка на слово как таковое расхо-

дится со ставкой на рассказ о неизвестной части нашей жизни.

Считать ли использование узнаваемых ходов позднесоветской прозы и расхождение по стилистическим полюсам – общим поколенческим признаком? Стоят ли за этим отчётливый литературный выбор, демонстративная ориентация на прошлое и установка на безыскусность как приём? Нет. Потому что причина – в другом.

Окружающая нас российская жизнь содержит слишком много узнаваемых советских черт. Особенно за пределами крупных городов. Не изменилось место “маленького человека” в бюрократическом, обезличенном мире. Увяз в семидесятых элементарный быт, которого не коснулись веяния консюмеризма. И рассказать об этом проще и естественней, отыгрывая (именно отыгрывая, а не повторяя!) старые советские приёмы и ходы. Ну и литературный нарциссизм – не новое явление; многие славные прозаики начинали с этого, а потом – как тот же ранний Аксёнов – делали шаг от Себя к Другому.

Но продолжим знакомство с лауреатами третьего сезона. Второе место занял сибиряк **Никита Немцев**. Он, казалось бы, полная противоположность Павлу Пономарёву. Его рассказы – игровые, ироничные, с подвывертом; название сборника – “Ни ума, ни фантазии” – словно бы нарочно противопоставлено названию цикла рассказов Пономарёва “Мышиные песни”. Но на самом деле – поверх стилистических

разногласий – их лирические герои аукаются; слишком нежные для этой грубой жизни, они ищут возможность закрыться, защититься от давления чужого, чуждого. Да, работают с травмой они по-разному. У Пономарёва юноша, играющий на флейте, бежит от дикости – в глушь; Немцев создаёт обманный шлейф ассоциаций, дробный, оскольчатый мир, в котором миллионы отражений прячут героя от опасности быть осмеянным и непонятым.

А писательница из города Березники Пермского края **Анастасия Разумова** в сюжетной повести “Дрожащий мост” (третье место) ставит в центр повествования трудного подростка. Он совершает преступление, он виновник, но на самом деле дети – жертвы, а преступники – взрослые. Создавшие вселенную одиночества, мир кровоточащих ран. Из этой вселенной бежит герой Пономарёва. В её пределах персонажам Немцева ничего не остаётся, как жонглировать иронией. Против неё идёт и главный герой Анастасии Разумовой. Причём идёт до конца, без оглядки...

Поскольку споры о том, кто достоин стать лауреатом, шли довольно жёсткие, позволю себе напомнить имена писателей, не попавших в желанную тройку, но сверкнувших в коротком списке. В поэзии это Александра Герасимова из Томска с циклом “Перемолчание” и ярко экспериментирующий Евгений Горон из Москвы – обоим жюри также удостоило особого упоминания. Воронежца Василия Нацентов и Евгению Баранову (Москва) отметил специальным призом жур-

нал “Юность”. Самых добрых слов заслужили Ксения Правкина (Лосино-Петровский), Денис Безносов (Москва) и Эгвина Фет (Ставрополь). В разделе “Проза” за победу боролись на равных Родион Мариничев (Люберцы), написавший мощную антиутопию в духе альтернативной истории – “Западный перенос”, – и Малика Атей (Бадамбаева) из Алматы, представившая на конкурс роман “Я никогда не”, в котором слышатся то отголоски молодёжной прозы, то интонации Франсуазы Саган. И Тимур Валитов, уже громко заявивший о себе публикациями в лучших литературных журналах. И владеющий “судебным” материалом Сергей Кубрин из Пензы (“Хабиби”).

И москвич Игорь Белодед, отыгравший в повести “Синий кит” тему спорного расследования “Новой газеты” о клубах детей-самоубийц, и развернувший публицистический сюжет в неожиданном литературном направлении. И автор ещё одной антиутопии, “Плюсквамфутурум”, Борис Пономарёв (Калининград)...

В отличие от “просто” финалистов, лауреаты третьего сезона (как, видимо, и первых двух) получили и свою минуту славы, и пятиминутки ненависти; та же Разумова могла прочесть о своей прозе приязненный отзыв критика Ольги Тимофеевой (“Новая газета”) и отрицательный Николая Александрова – (“Эхо Москвы”). О лауреатстве Оксаны Васякиной с восторгом написал Глеб Морев, главный редактор *Colta.ru*, и с раздражением – часть поэтической тусовки. А

сколько было сказано в глаза и за глаза... Вечная формула Ельцина “Не так сели” – любимая фраза литературной среды.

Но к этому нужно привыкать с самого начала. И к восхищению сверх меры, и к отвержению сверх разума, и к перешёптыванию за спиной. Иначе можно запросто сломаться, сгореть в двойном пламени восторга и отвержения, не состояться в жизни и в литературе. Пушкинский совет ещё никто не отменял.

*Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.*

От этого выбора не освободят ни премии, ни жёсткая критика, ни миф о литературных поколениях. Сам – свободно – один – не требуя.

Потому что словесность – это не конвейер по производству новых поколений, а почва для произрастания литературных личностей. Прочтите книгу – убедитесь в этом сами.

Председатель жюри премии “Лицей”
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Павел Пономарёв

Мышиные песни. *Сборник рассказов*

Первое место

Беглец

1

Посреди снежной пустыни, насквозь продуваемой ветрами, неуклюже, как скворечники, стояли брошенные избы. Внешне они ещё сохраняли своё лицо – бревенчатые стены, крыши, ставни, ограды, – но внутри домов царили холод и пустота. Предприимчивые хозяева переехали в город. Остались лишь те немногие, кому нечего было терять: одичавшие философы поневоле и старухи, доживающие свой век.

Помнится, в девяностые мы с отцом искали в этих краях дачное место – какую-нибудь дешёвую избу с пятью сотками у забоки¹. Брошенных домов и тогда было немало. Как тать, я проникал в чужие избы и с удивлением обнаруживал оставленные хозяевами вещи. Многое осталось нетронутым: старая мебель, посуда, книги, настенные часы. Прошлая жизнь людей мистически продолжалась в позабытых предметах, к которым и прикасаться-то было страшно, как к церковной утвари. После мы купили один из домов, очень ветхую избу, как и хотели, у самой забоки. Забока представляла собой

¹ Забока (сиб.) – берег, край, обочина, лесок вдоль берега речки, озера; урема; ветвь или часть чего-либо, отделившаяся вбок; речной рукав, образующий с настоящим руслом остров. – *Примеч. ред.*

смешанный лесок, тянувшийся вдоль берега Алея, на краю деревни. Вот сюда-то я и приехал со своим рюкзаком.

Последний узел, связывающий меня с цивилизацией, был развязан, ибо чёрные тополя у реки видели, как мой телефон, совершив акробатический трюк, улетел в дальний сугроб. Я не стал смотреть, кто звонит, то ли от гордости свободного человека, то ли от страха вернуться в прежнюю жизнь. Звучали последние такты хоральной прелюдии Баха, когда я подходил к забору и недоверчиво всматривался в неподвижную заоконную тьму.

2

В новом жилище оказалось достаточно разного рода вещей, чтобы существовать. Дом состоял из двух комнат и холодной сарайки, которую после я завалил кучей хвороста, благо забока была рядом. В большой комнате, ставшей местом размышлений и спальней, находилась железная кровать. Справа от кровати возле окна висела книжная полка, на которой вместо книг пылилась бумажная икона и чернел кусок хозяйственного мыла. Там же был стол, украшенный сухими цветами в стеклянной банке, и пара стульев. Другая – небольшая комната, где находилась русская печь, служила кухней.

Первое, с чем я начал бороться, – это пронизывающий до костей холод. Он был всюду. Казалось, холод зарождался

где-то на розовеющем степном горизонте, затем невидимым остриём пронзал обмороженную лесную глушь, пробирался к жилищу и сквозь многочисленные щели вползал в не защищённое огнём пространство, где был человек. Этот челове- чишка смешно приседал, суетился, неумело складывал хворост и ронял спички на промёрзшие доски. Наверное, холод сравнивал меня с теми старожилками, которые благоговейно склоняются над печью и через мгновение рожают пламя. Холод смеялся.

Вскоре изба ожила. На печи в ржавом ведре парил кусок январского сугроба. В доме было грязно, и я решил вымыть пол и стереть пыль с немногочисленной мебели. Уже в сумерках, при мигающем свете керосиновой лампы, я принялся разбирать рюкзак. Половина накопленных с академической стипендии денег была потрачена на консервы, спички, сигареты и прочие вещи, необходимые в быту. Другую половину оставил на жизнь. Хотя я точно и не знал, есть ли в этой глуши жизнь, да и не слишком-то задумывался о завтрашнем дне. Ощутив домашнее тепло, я снял куртку и закурил. На столе темнела стопка привезённых книг – на случай, если мозг начнёт давать сбои и придётся умирять его с помощью готовой реальности.

Русская печь, вросшая некогда в основание избы, пробудила древние запахи жилища. Я чувствовал то горечь степной полыни, то сладковатую вонь июльского хлева, то пче-

линные ароматы зимовника². Всё здесь было просто и страшно. Моя изба была, конечно, язычница. И я отдавал должное её поверьям, подкладывая в огонь острые сучья, стараясь делать это вдумчиво и неторопливо. Мне подумалось – как же хорошо сидеть здесь одному, молчать и быть самим собой.

Я перерубил провод, связывающий меня с миром, но осталась память. Надев валенки, я вышел в беззвучную тьму, лишь через минуту разглядев очертания двора и – вдали – плотную лесную глушь. Память надеялась уколоть мыслями о городе, о суетном прошлом, но древний холод и дивная тишина этих мест делали мысли беспомощными. Они растворялись в хаосе ночного неба – без единой звезды. В этом безмолвии было много жизни. Казалось, древние духи и ныне живут здесь: в деревьях, в старых колодцах, в стенах и половицах моей избы. Духи присматриваются, принимают ко мне, чую смрадную вонь большого города, но пока не трогают, наблюдают, что со мной станет потом.

Спать я лёг одетым, не решившись доверить наготу необходимому месту, подумав, что и дом со своими духами считает меня пока что чужаком. От усталости заснул я довольно быстро.

² Зимовник – помещение для зимнего хранения ульев с пчёлами. – *Примеч. ред.*

Наутро я увидел страшный сон. Передо мной стоял бородатый человек лет тридцати, в грязной фуфайке и валенках, и угрожающе размахивал руками, не произнося при этом ни слова. Он только мычал и выразительно лупал большими голубыми глазами. Поняв, наконец, что это не сон, я попытался сообразить, что ему от меня нужно. Мельком вспомнил, что ночью не запер уличную дверь на засов, и это меня испугало. Тем временем язык жестов пришельца сообщал, что его не нужно бояться, что он свой: лицо с вытаращенными глазами сделалось подчёркнуто незлобивым и улыбалось. Всё его поведение выражало детское “давай дружить”, но мне, добровольному затворнику, эта идея не очень-то нравилась. Уехав от людей, я и не думал встречаться здесь с кем бы то ни было, тем более с сумасшедшими.

Пока я натягивал куртку, немой суетился у печи и, кажется, собирался её растопить. Поскольку я не вставал ночью и не подкладывал дров, изба почти остыла. Молча наблюдая, как неизвестный, не переставая улыбаться, чиркает спичками и мнёт газетную бумагу, я чувствовал себя беспомощным идиотом. Наконец, достав из рюкзака ручку с блокнотом, я жестом подозвал немого и написал: “Я не вор. Это дом моих родителей. Приехал собирать фольклор”. Пришелец с интересом прочёл сообщение и добавил от себя корявым почер-

ком: “Я Федя. Увидел следы... (нрзб.) что за хрень... (нрзб.) решил посмотреть”. Продолжение переписки представляло собой примерно следующее.

Я: Здесь ещё живёт кто-нибудь?

Он: Две бабки в низинке, одна мёртвая.

Я: Что ты тут делаешь?

Он: Бухаю. Жена бросила... (нрзб.) хожу на прорубь.

Я: В деревне есть магазин?

Он: Раз в неделю... на грузовике...

Я подумал: это хорошо, что он немой. Деревня словно бы запрещала произносить лишние необдуманные слова, но только самые нужные – из глубины сердца. Гость исчез так же неожиданно, как и появился, оставив после себя тепло и крепкий древесный запах перегара.

4

В течение дня я лениво слонялся по дому, подолгу смотрел в окно на черневшие избы, пару раз выходил во двор по нужде. Открыл банку консервов, но ел без аппетита. Лёжа на кровати, наугад брал привезённые книги, открывал где придётся, читал и сознавал, что читаемое мне неинтересно. Всякий раз мне слышался бубнящий в самое ухо голос автора, разъяснявший какие-то важные вопросы о человеке, сво-

боде, войне... Каждое слово – амбиция, каждая фраза – попытка заявить о себе в вечности.

Здесь я отдыхал от городского многословия, очищался от информационной блевотины, где одно высказывание имело тысячу подтекстов и в итоге оборачивалось ничем. В деревне же царила немота. Редко где залает собака или ветер заденет сухую траву. Умом я понимал, что это и есть жизнь, что в тишине – красота, что нужно отбросить всё лишнее и просто быть счастливым. Но одиночество напоминало о себе... как старая, лишь на время затаившаяся болезнь.

Когда я услышал беспокойный стук в окно, был уже вечер. Я выглянул, но увидел лишь заснеженный по горло забор и густые деревенские сумерки. Через минуту вошёл Фёдор. Он улыбался, мычал и застенчиво суетился на пороге, шурша жёлтым пакетом. Изба услышала глухой звук. К моему удивлению, на столе появилась крупная зелёная бутылка с самогонном. “Наверное, так надо”, – подумал я и страшно обрадовался.

Мне не приходилось выпивать с глухонемым человеком. Я разлил самогон по стаканам и открыл консервы. Мы молчали и, улыбаясь, смотрели друг другу в глаза. Мне казалось, он видит меня насквозь, но отвести взгляда я не мог. Иначе – как бы мы понимали друг друга...

Глаза Фёдора были ясны и выразительны, как у ребёнка. Я пытался представить ту белую тишину в его голове, не знавшей ни шума природы, ни музыки человеческой, способной

вывернуть душу наизнанку – стереть в пыль или же опрокинуть в божественную красоту. Впрочем, бессмысленного шума в мире куда больше, чем музыки. Глухота обостряла зрение и позволяла видеть человека, природу, время – как бы изнутри. Словесная паутина не зашоривала реальность. Такой взгляд невозможно обмануть.

Мы выпивали, а Федя что-то “рассказывал”, и всё его подвижное тело было подчинено мысли. Когда он бил кулаком по ладони, словно заколачивал гвозди, я понимал, что речь идёт о суке-жене. Когда рука указывала в сторону реки, а голубые глаза становились величиной с небо, я догадывался, что Федя говорит о рыбалке и о том, какая неведомая рыба водится в речной проруби.

Довольно скоро я захмелел, за окном было темно. Федя яростно дирижировал невидимым оркестром, исполнявшим симфонию его жизни. В этой музыке было всё – и радость, и одиночество, и отчаянный призыв налить ещё. Я слушал и блаженно созерцал пустеющую бутылку. По избе медленно, как осенняя паутина, плавал табачный дым, превращая реальность в сновидение...

5

Не помню точно, как мы оказались на улице. В распахнутой куртке и с сигаретой в зубах я наблюдал впереди силуэт Фёдора, решительно уходящего в темноту. Стоило бы тогда

задуматься, куда он меня тащит в самую ночь, но я ему доверял и расценивал происшествие как новый приключенческий манёвр. “Наверное, так надо”, – снова подумал я.

Казалось, не прошло и пяти минут, как мы подошли к бревенчатой хибарке, в окне которой горел странный мерцающий свет. На самом деле мы плелись по сугробам не меньше часа. Рук я не чувствовал, и попытка закурить кончилась тем, что выронил все сигареты в снег вместе со спичками.

Войдя в чужую избу, я не ощутил ожидаемого тепла. Мой взгляд скользнул по длинному домотканому половику, ведущему из кухни в зал, и в ужасе застыл на раскрытом гробу с покойницей. В гробу желтела сморщенная старушонка, крепко держа своими скрюченными пальцами церковную свечку.

– Замёрзли, небось, а я и не топила, чтоб Марфушу не потревожить, – сказала вторая, живая старушка, приветливо качая головой.

Больше в избе никого не было.

– Вот хорошо, Федя, что друга привёл, будет с кем могилку для Марфуши выдолбить, – пропела бабушка. – Он пишет, вы учёный, хальклор собираете. Я, грешным делом, подумала: мож, человек по Марфуше хоть Псалтирь почитает. Я-то ослепла совсем, а Марфуша дюже сильно в Господа веровала, царство ей небесное... отмучилась...

Старушка заохала, закачалась, я уж подумал, что сейчас расплчется и запричитает. А она только коснулась ладонью

ног умершей подруги и, тихо улыбаясь, смотрела.

– Вы не стойте, – снова заговорила она, – мож, вам с морозу водочки налить? Я ведь припасла на поминки-то.

Бабушка усадила нас за стол. Мне она налила крепкого чая с чабрецом и пододвинула тарелку с пряниками, к которым я так и не притронулся. Феде поставила рюмку водки, порезав на закуску рыбный пирог.

– Кушайте, не стесняйтесь. Вам силы нужны, мёрзлую-то землю колупать. Ежели Степан до завтра на машине поспеет, оно и легче втроём-то... Да он, говорят, запил. Люди вторую неделю хлеба не видят. Мне так внучка к поминкам привезла всего, еле добралась... “Степан в жопе чурбан” – так его в детстве дразнили, прости господи... А у Марфуши кроме меня никого. Не дай бог так вот одному век доживать. Да теперь ничего, отмучилась...

Хозяйка налила себе рюмку водки, выпила за раз, чуть занюхав рукавом, и продолжила:

– Мы ведь с ей с юности ещё дружили... при колхозе. Я на тракторе, она дояркой. Мужики-то все на войну ушли. Вот бабы и держали колхоз... Помню, она с похоронкой-то как прибежит да как заголосит: “Ой, Маруся, без мужика я теперича, повешусь я”. Бог миловал, языком только болтала. А после того, значит, как муж её погиб, шибко боговерующая она стала, прям как монашка. Иконы дедовские на чердаке отрыла, платок себе чёрный на голову повязала – чисто монашка! Вот, Марфуша, – повернулась она в сторону гроба,

словно оправдываясь, — людям рассказываю про жизнь нашу горемычную, а ты отдыхай... Ну вот. А время-то лютое было: нет, говорят, Бога... и всё тут. Над ей уж и люди стали посмеиваться, а она своего церковного не оставляет. Когда в город разрешили выезжать, после этого уже, Сталина-то, она и в церковь стала ездить, на свою-то голову. А там батюшка её не то остриг, не то подстриг, я уж и не знаю, как это у церковных людей называется. Только после этого она совсем молчуньей стала: из дому не выходит, сидит, бусины перебирает. Она из старых бус чётки себе молитвенные сделала. Одним хозяйством только и кормилась...

Пока старушка рассказывала, я окончательно протрезвел, а Федя мирно посапывал, уснув в позе школьника за столом. На кухне, где мы сидели, пахло старушечьими вещами и ладаном. В красном углу горели свечи. Духа, которого я немного побаивался, не было, и хозяйка, словно прочитав мои мысли, пояснила:

— Высохла Марфуша, не пахнет совсем. А ты, сынок, возьми Псалтирь-то, почитай на покой души подруги моей. Да и оставайтесь-ка у меня на ночь, я вам на топчане постелю. Куда вам теперь идти... ночью-то. А утречком пойдёте уж могилку ковырять.

Как ни странно, такой поворот событий меня не удивил. Я взял старую книгу, опасливо подошёл к гробу, стараясь не глядеть на покойницу, сел на поставленный рядом стул и начал читать с первой страницы: “Блажен муж, который не

ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь...”

6

Утром, омочив страшные лица под рукомойником, мы с Фёдором отправились на кладбище. По дороге зашли в его лачугу, укромно стоявшую у берега реки, взяли два лома и лопаты.

Если бы мне пришлось когда-нибудь снять фильм, то изобразил бы я эту картину примерно так: раннее январское утро, кругом белая тишина. Только хруст наших шагов – на целые километры. Мы с Фёдором, как два партизана, в фуфайках и валенках, медленно бредём по степи в сторону размазанной по горизонту редкой опушки, где темнеет кладбище. Со стороны забоки тревожно каркает вороньё, напоминая о *крае долготерпенья* и о той красоте, что *сквозит и тайно светит* в бесконечности русского пейзажа. Навязчиво цепляется мысль о ночном сновидении, хотя спал я паршиво, да и сон приснился, должно быть, ближе к утру. Я увидел, как покойница встала из гроба, подошла к столу, опрокинула рюмку водки и, повернувшись в сторону моей лежанки, тихо и с упрёком проскрипела: “Ты хоть бы о матери подумал, стервец”. И легла обратно в гроб.

“Под сосёнкой просила Марфуша”, – вспомнился благодет-

ный распев бабы Маши. Хотя какие тут могут быть сосёнки, рассуждал я про себя, – тополь да ива. Но когда мы добрались до места, я действительно увидел небольшую чахлую сосну, вероятно, посаженную кем-то “для красоты”. Тут мы и стали долбить.

Я начал работать ломом резво, отчаянно, как если бы откапывал сокровища. Федя покуривал в стороне, созерцая мой труд, и что-то смекал. Я не раз любовался подобной картиной в городе, где какой-нибудь работяга, стоя по колено в грязи, выковыривает провод, а другой, наблюдая и покуривая, проникает в метафизику происходящего. И никто не возмущается, сознавая значимость физического делания и действенного созерцания.

Увлёкшись работой, я не заметил, как Федя отлучился и принёс охапку хвороста из забоки. Подумал, что он хочет развести костёр, чтобы мы согрелись и отдохнули. Но когда он положил ветки на будущую могилу и поднёс спички, я был поражён своей глупостью: разогретая твердь комьями отлетала в стороны, а остриё лома с каждым взмахом уходило всё глубже и глубже в недра могильной земли...

Обратно мы шли мимо руин полуразрушенного коровника, разобранного на кирпич, – задумчивые и голодные. Тускло светило солнце. Я не знал, который теперь час и как долго я вообще нахожусь в этом месте. В голове было как в глухой кадушке – темно и пусто. Испарялись готовые фразы, остроумные мыслишки, ненужные в этой тишине. Не знаю, думал

Фёдор о смерти или о своей жене с малолетним сыном, скупал он или был счастлив... Позыв к любительской психологии рождается от безделья и сытого желудка, а мне было не до того. Нужно было похоронить старушку, пока не началась вьюга и не замело протоптанную тропу.

Вернувшись в свою избу, я первым делом затопил печь и поставил на чугунную плиту ведро со снегом, решив наконец помыться. Завтра – похороны Марфуши, и почему-то, не знаю почему, я переживал это событие как что-то мне близкое. Может, потому что читал Псалтирь над покойницей... или потому, что долбил для неё свежую могилу. Как бы то ни было, эти вещи делали меня причастным к происходящему здесь, в деревне.

Стоя нагишом в тазике и намыливаясь куском окаменевшего мыла, думал: приедет или не приедет на грузовике Степан, что он за человек и какое имеет отношение к деревне. Я и не заметил, как стал жить новыми именами, запахами, образами, наполнявшими древнее пространство моей добровольной ссылки...

7

Знакомство со Степаном произошло в избе бабы Маши, куда я отправился ближе к вечеру, чтобы помочь с похоронами. За столом сидел угрюмый человек лет пятидесяти с большим животом и лицом водителя городского автобуса. Я

вежливо поздоровался и сел на лавку.

– Ты, что ли, приезжий? – выдавил Степан, не глядя на меня.

– Я, – улыбнулся я ему.

– И на кой тебя сюда занесло? Сидел бы лучше дома, мамкины пироги ел. Мало ли по деревням спивается, – покосился он на Фёдора, который был тут же и чистил у печи картошку.

– Да учёный он, хальклор собирает, – вступилась баба Маша. – Ты скажи спасибо, что помощник нашёлся. А то надёжи на вас... тьфу, – вздохнула хозяйка, не переставая месить тесто для поминальной стряпни.

Степан выдержал паузу, покашлял в кулак и, поглаживая плешь, сказал:

– Ну, пойдём, учёный, покурим, что ль.

И мы вышли во двор покурить.

По грустным глазам и ленивой фигуре Степана было видно, что он человек добрый, и меня забавляло, как он напускает на себя важность. Дело его заключалось в том, чтобы по выходным привозить из города в глухие селения продукты и то, что попросят люди. Деревенские называли его фургон “лавкой”. Иногда он обменивал магазинные продукты на своё мясо, творог, яйца, чтобы продать на городском рынке подороже. Тем и жил. Степан был когда-то женат, в молодости играл в заводском оркестре на трубе, читал Стругацких, но в девяностые всё пошло к чёрту. На последние

деньги он приобрёл старенький грузовик и стал шоферить.

– Что, красиво? – спросил Степан, заметив, что я гляжу в сторону забоки.

– Красиво, – нехотя ответил я.

– Красиво... – передразнил Степан и с прищуром затаился. – Тут не в красоте дело. Тут всё детство моё прошло. Вон то дерево видишь? Слышь, чё говорю... видишь здоровый тополь возле коровника?

– Вижу.

– Так вот, когда я в школу начал ходить в Бобково, деревня тут в пяти километрах, он был ростом с эту лопату, – показал он на воткнутую у крыльца лопату. – И каждый день я мимо него ходил и наблюдал, как он подрастает. А теперь смотрю я на него... – запнулся Степан и, отвернувшись, высморгался. – Понимаешь, о чём толкую?

– Понимаю.

Немного помолчали.

– А я вот тебя не пойму. Чего дома не сидится? Тут до вечера-то пробудешь – тоска гложет.

– Частушки собирать приехал.

– Студент, что ли?

– Ага, студент.

Нашу недолгую беседу нарушила хозяйка – позвала ужинать. Покойница уже не производила на меня того жуткого впечатления, как прежде. Я даже готов был подержаться за её вязаную тапку, как делал в детстве, когда умер дед, но

понимал, что выглядело бы это странно. Фёдор суетился у стола, думая во всём угодить бабе Маше: расставлял и переставлял чашки, со звоном ронял алюминиевые ложки, нарезал огромными ломтями домашний хлеб. Хозяйка незлобно ворчала на помощника, пряча едва заметную улыбку в морщинистом лице:

– Ты меня хошь вслед за Марфушей в гроб свести? А ну иди отсель, руки вон лучше помой.

А Фёдор понимал только то, что бабушка жалеет его и любит. И он тоже жалел и любил её за доброту.

Ночью у меня начался жар. От старушки я пришёл уставший и сытый, растревоженный мыслями о том, что напрасно я связался с новыми людьми, которым мне приходилось лгать и тем самым нарушать странную, приятную тишину здешней моей жизни. Не хотелось растапливать остывшую печь, идти за дровами в холодную сарайку, где так явно слышались мышиные шорохи. Я долго не мог уснуть, ворочался. В голые, ничем не занавешенные окна проникал мертвенно-бледный свет луны, делавший комнату похожей на освещённый фонарём погреб. Я то укрывался целиком, ёжась и кутаясь в мышиную вонь одеяла, то раскрывался полностью, чувствуя, что начинаю задыхаться...

Похороны прошли без меня. Утром зашёл Степан со словами “Дрыхнешь, студент?”. Но когда увидел, что я болен, взялся растапливать печь и напоил меня чаем.

Весь день я пролежал в кровати, думая о своём отшельничестве и о том, как там хоронят теперь старушку. За окном тёмная пелена затягивала белёсое небо над забокой. Снаружи выюжило, и мрачно подвывала печная труба... Я то медленно уходил в сон, забываясь, то резко просыпался от размашистых ударов ставен, бухающих о стекло. Порой завывание выюги отзывалось в больной голове далёкими звуками трубы, и тогда я с удивлением думал, не Степан ли играет над могилой эти протяжные траурные ноты...

Проснулся от звука хлопнувшей двери. Услышал голоса и лицом почувствовал морозную свежесть. Мне показалось, что кроме знакомых голосов Степана и бабы Маши появился ещё один – женский.

– Как ты, студент? – с порога хрипел Степан. – Хвораешь? Вставай, самогонкой мы тебя быстро вылечим.

Мне было и стыдно, и приятно играть роль больного. Я ответил нарочито слабым голосом, что сейчас встану. Хотя двигаться, разговаривать, улыбаться сил не было.

– Ой, сыночек, да как же так, – запричитала баба Маша, –

где ж ты вздумал простудиться? Только Марфушу схоронили, а тут...

– Ничего-о, – вовремя урезонил Степан, – вылечим твоего студента, не бойсь.

Я поднялся с кровати, пригладил кое-как ладонями грязные слипшиеся волосы и вышел на кухню. Возле окна в чёрном платке и валенках сидела девушка, склонив голову и тыкая кнопки телефона. Я поздоровался.

– Здравствуйте, – скромно ответила она, сунув телефон в карман болоньевой куртки.

– А это моя внучка, Ка-атенька, – ласково пропела старушка.

Степан, сидя на корточках, курил в жаркое устье печи и что-то тихо насвистывал. Рядом с ним лежал коричневый чемоданчик, похожий на чехол от музыкального инструмента.

– А Фёдор где? – поинтересовался я.

– Придѐ-от, куда денется. – Степан не спеша раскурил потухшую сигарету, сплюнул табачные крошки в пол и продолжил: – Эх, и умаялись мы. Погода вишь как разыгралась... Сперва везли гроб на санях, а там снега непролаз. Пришлось верёвками обматывать и так тащить до самой ямы... – Степан мрачно затаился.

– Дак ведь уронили, уронили гроб-то! – возмутилась баба Маша, стряпавшая что-то у стола. – Благо хоть не вывалилась Марфуша, прости господи. Небось, поддали ещё, как нести...

– Не шуми, баб Маш, – поморщился Степан, – и так на душе не шибко весело. Как не выпить, когда холод такой, до костей пробирает.

– О-ой, холод их пробирает, гляди-кась!

– Баб, ну чего ты, похороны ведь, – сказала внучка, явно меня стесняясь.

Старушка набожно перекрестилась.

– Зато как я играл, как играл... – тихо молвил Степан, зажмурившись. – Ты хоть знаешь, что я играл, а, баб Маш?

– И дела мне нет, чего ты там дудел на своей свистульке. Только Марфушу зря потревожил.

– Дудел... Шопена я играл, баб Маш, Шопена...

Степан грустно улыбнулся и бросил окуроч в печь. В это же время с облаком морозного пара вошёл Фёдор и поприветствовал нас своей широкой улыбкой.

Когда мы сидели за столом, я поймал себя на мысли, что мне не безразлично наличие в кармане девушки сотового телефона. Нелегко устоять перед соблазном узнать о той части разломленной пополам жизни – без меня. Что пишут друзья и одноклассники в моём блоге? Не обернулась ли весть о пропаже страшным предположением о моей возможной гибели или самоубийстве? Не расклеивают ли теперь по городу листовки с моей унылой физиономией? Прежде ясная и твёрдая идея о необходимости бежать из содома, из железобетонного гетто, где, как мне думалось, всё прогнило и продалось, вдруг помутилась. Достаточно было увидеть эту ма-

ленькую вещицу с кнопочками, чтобы заболеть миром вновь, чтобы прошлое вернулось в сознание и тупо встало перед глазами. Девушка, как нарочно, снова вынула телефон, но её попытку найти связь предупредил Степан, сказав:

– И не пытайся, здесь не ловит.

– А где ловит? – спросила Катя.

– На улицу надо выйти, к столбу, – ответил Степан и поднял рюмку. – Ну, чтоб земля была пухом...

Все молча выпили.

Вьюга улеглась. Мерцали первые звёзды. Я стоял поодаль от столба и курил, пока девушка с кем-то разговаривала, часто повторяя: “Не приеду. Не приеду. Не звони...” “Наверно, любовная драма”, – думал я, вглядываясь в деревенские сумерки. Хотелось попросить у Кати телефон, а главное, узнать, есть ли в нём интернет. Но было как-то неловко, тем более что у неё драма. Когда мы возвращались обратно, я всё же осмелился и спросил:

– Кать, мне бы в Сеть выйти... У тебя случайно нет в телефоне?

– Есть. Возьми, – протянула она мобильник.

Я остался во дворе и стал жадно читать сообщения. На экранчике разворачивалась странная трагикомедия. Помимо меня героями этой пьесы были студенты родного вуза и приятели. Кто-то оставлял мрачные посты с многоточиями, похожие на эпитафии, другие изошрялись в догадках о моей

участи (убит, повесился, утонул, похищен пришельцами), но самым ценным из всего этого шлака были сочинённые в мою память стихи с кратким названием “Другу”. “Да, – думал я, листая сообщения, – если ты не гений, не медийная личность или маньяк, лучший способ прославиться – это пропасть без вести или умереть...” Мне стало невыносимо весело в эту минуту. Я смеялся на всю деревню, наполняясь неизвестно откуда бравшейся энергией. Что-то мне, впрочем, подсказывало, что смех этот был недобрый. Но истерику, как известно, трудно остановить.

В избу я вошёл нахмуренный, пытаюсь скрыть нездоровое веселье, но, видимо, делал это плохо, потому что Степан сказал:

– Вот и хорошо, что мамке позвонил. Ехать тебе отсюда надо.

Это замечание меня немного смутило. Наверное, я плохой сын. Маме я так и не позвонил.

– Ну, помянули – и добре, – сказала бабушка, вставая из-за стола. – А тебе, сынок, я завтра вареньица принесу, чтоб выздоравливал. Или вон Катю пошлю. Айда, архаровцы, уж и ноги, небось, не держат.

Архаровцы лениво засобирались, изобразив на лицах “ни в одном глазу”.

Проводив гостей, я остался один на один с голыми стенами и живой дышащей печью. Начисто вытертый стол и пустота комнаты создавали иллюзию, будто здесь и не было ни-

кого, а я только что встал с постели. Но крепкий помоечный запах яиц, курева и перегара рушил иллюзию. Пахло человеком, поминками, неизвестностью тёмной деревенской жизни.

9

Следующий день я провёл в ожидании Катерины. Выходил во двор, чистил снег, смотрел в сторону забои на галдевшее вороньё, но время шло медленно, словно бы издевалось надо мной. К вечеру я уже потерял всякую надежду и решил пойти спать, когда она меня окликнула, так тихо, что мне показалось, будто это скрипнула от ветра калитка. Я проводил девушку в дом, приняв из её рук пакет с вареньем и домашним хлебом. Хлеб оказался кстати. Продукты заканчивались, и я уже подумывал пойти рыбачить с Фёдором на прорубь. Попрошайничать не хотелось, но бабушка, видимо, чуяла мою нужду и умело подкармливала.

Привлекательная городская девушка в моей избе, в безлюдной глуши, – это воспринималось как чудо. Я чувствовал себя рыбаком, поймавшим золотую рыбку на крючок, боясь, кабы не сорвалась. Катя сидела на старом диване и сметала колючий снег с валенок. На моё предложение раздеться и выпить чаю сухо ответила: “Я ненадолго”. В такой ситуации главное – не перестараться, не показать заинтересованности, какой-то надежды. А ещё лучше уяснить для себя, что через

минуту она уйдёт и ничего не случится. Тебе не должно быть ни тепло, ни холодно от этого, нет, будет даже лучше в гордой тиши одиночества. Убедив себя в этом, я сел возле стола и закурил, решив молчать и наблюдать за её поведением. Стало как-то легко, забавно, безразлично.

Она сдалась первой и спросила меня:

– Ты действительно фольклор собираешь или так... отдохнуть приехал?

Я не стал отвечать сразу, медленно затянулся и выдохнул с дымом:

– Да, надо по учёбе.

– Ясно. Только у кого собирать – у Федьки, что ли? – Она сдержанно улыбнулась. – Бабушка вряд ли что помнит, память уже не та.

Я почувствовал опасность разоблачения и сменил тему.

– Это неважно. Мне и так хорошо. Тихо тут. Может, выпьешь чаю? – осторожно спросил я.

Катя уронила рукавицу в натёкшую с валенок лужицу, потянулась за ней и выронила другую. Мы засмеялись. “Давай”, – согласилась она.

Когда я возился с кипятком, подкладывал сучья в дымившую печь, то вдруг чётко осознал, что скоро она уедет, а следом за ней, вероятно, уедет Фёдор к жене и сыну, а там, не дай бог, помрёт старушка, и я останусь совсем один в этом дремучем месте. Думать об этом было и больно, и сладко. В этих мыслях было что-то тревожное, страшное, но вместе

с тем тяга к свободе, к преступному выходу из омута повседневности, к первобытной встрече со своим “я” искушала до нервного сердцебиения. Именно теперь хотелось ухватиться за человека, за его голос, случайные взгляды, в которых жила тайна неведомых мне мыслей.

– Уговариваю бабушку уехать, – сказала Катя. – В городе мама, врачи... Только она ни в какую. Говорит, что здесь хочет умереть, по-божески...

– Тебе здесь страшно? – зачем-то спросил я, отыскивая в шкафу банку с сахаром.

– Почему ты думаешь, что страшно?

– Не знаю. Просто спросил...

Я разлил чай по гранёным стаканам, через потемневшие стёкла которых можно увидеть действительность, как она есть.

– Может, ты кого-то убил? – спросила она вдруг без улыбки.

– Может, и убил, – спокойно ответил я, помешал ложечкой в стакане и сел напротив гостьи за стол.

– Нет, серьёзно. Я где-то в кино видела, как один чувак зарезал свою жену и сбежал в глухую деревню.

– Любишь кино?

– Так, иногда, смотрю от скуки, – ответила Катя, пригубив крепкий горячий чай.

– А я не люблю, когда играют. Знаешь, эти фальшивые улыбки, поцелуйчики, монологи...

Катя снисходительно улыбнулась на мою реплику и возразила:

– Но ведь у человека должны быть какие-то интересы, хобби. Я, например, хендмейдом увлекаюсь. Это рукоделие по-нашему...

– Я люблю изучать людей.

Она внимательно на меня посмотрела.

– Любопытно. Значит, ты можешь составить психологический портрет человека... мой, например?

Я услышал её смех – тихий, шелестящий, как сухая трава.

– Легко. Я думаю, у тебя нелады с парнем и ты пришла просто поговорить с малознакомым человеком.

– Я бы могла и с подружкой поговорить, – продолжила Катя опасную игру в слова.

– Значит, всё серьёзней, если ты пришла к мужчине, а не к подружке. Может, он тебе изменил...

На минуту стало слышно, как в подполе скребут мыши.

– Дурак, – сказала она спокойно, но жёстко; улыбка пропала. – Особо-то не обольщайся, ты мне не нравишься. Бабушка сказала продукты принести – я и принесла.

Она не делала никаких движений, чтобы уйти, а я был спокоен и доволен дерзким разговором с девушкой, которая непонятно почему сидит со мной рядом, пьёт чай и не уходит.

– Да, он мне изменил. Дай сигарету.

Я протянул ей пачку и смотрел, как она сердится, неловко

закуривает, роняя спички и смешно щуря глаза.

“Теперь она расскажет мне свою историю”, – решил я, поражаясь своему буддистскому спокойствию.

– Не подумай, что я пришла в жилетку плакаться. Считай это случайным разговором на полустанке. Знаешь, как это бывает... Встречаются два незнакомых человека, рассказывают друг другу всякую мерзость, а потом расходятся навсегда.

Я молчал, как стена, делая вид, что мне всё равно. В печи нервно потрескивали дрова, в комнате, тускло освещённой керосиновой лампой, было дымно и душно.

– Если б я знала, что он такой... Я понимаю, что глупости говорю... Хотя я не глупая.

– Ты можешь ничего не говорить.

– Вот скажи, чего ещё мужику надо, если его любят по-настоящему? – выпалила Катя.

– Не знаю. Я девушкам никогда не нравился, – забросил я новый крючок.

Катя по-женски окинула меня взглядом.

– Это потому что ты странный...

– Чем же я странный? – усмехнулся я.

– Не знаю... Сидишь, чай пьёшь, не пристаёшь.

– А если попробую?

– Что попробуешь?

– Ну... приставать. Здесь ведь на целые километры – никого. Федя не услышит.

– Попробуй, – спокойно сказала Катя, пододвинув к себе столовый нож.

Я нервно засмеялся и прикурил свежую сигарету.

– Так что там с твоим парнем?

– Ничего, забудь, – бросила она, встала и ушла в другую комнату.

Я слышал, как она берёт со стола книги, листает страницы. Потом спросила:

– Посоветуй что-нибудь почитать, филолог.

– Не могу... – не сразу ответил я. – Не могу брать на себя такую ответственность. Представь, если бы ты спросила меня, каким оружием лучше застрелиться.

– Не вижу ничего общего, – сказала она из спальни.

– Напрасно.

– Знаешь, – снова заговорила Катя, расхаживая по комнате и скрипя половицами, – если бы я и хотела ему отмстить... ну, ты меня понимаешь... то точно не с тобой.

Я внимательно слушал и улыбался, почёсывая прокуренную бородку.

– Ты считаешь себя особенным, думаешь, ты не такой, как все. Уехал в эту грёбаную деревню – ешь, пьёшь, хоронишь старух. Не удивлюсь, если пишешь какой-нибудь длинный роман о том, как всё плохо и безнадёжно в этом мире. Ты слабый и не хочешь себе в этом признаться. Сильный человек борется с обстоятельствами, а не бежит от них. Сильный человек зарабатывает деньги, воспитывает детей, ходит по

бабам... Ты уехал, потому что боишься. Да, я угадала! Именно – боишься. А строишь из себя какого-то сраного героя!

Она вернулась в комнату и села на диван, закинув ногу на ногу.

– Тебе даже сказать мне нечего, потому что я бью точно в цель, – добавила Катя.

– Слушай, это не мне, тебе романы надо писать, – посмеивался я. – Какой слог!

– Тебе девушки не говорили, что ты скучный человек, тряпка?

– А если я и сам так считаю?

– Дебил...

Она выпустила в меня все пули, и я видел, как по комнате струился лёгкий дымок остывающего револьвера. Я подошёл к окну и, глядя в деревенскую хмарь, театрально произнёс:

– “Скучно, господа...” – сказал бы чеховский герой, глядя в окно.

– Сигареты ещё остались? – пискнула Катя.

– Последняя...

Она легла на диван, укрылась болоньевой курткой и отвернулась к стене. Я слушал глухие рыдания и машинально подносил к губам гранёный стакан, в котором чая уже не было.

– Послушай, Кать... если хочешь, то давай... Правда, я не уверен, что получится.

– Давать тебе жена будет! Понял?! Философ! – истерично

закричала Катя, вскочила с дивана и, захватив вещи, выбежала из дома.

– Значит, так надо, – произнёс я вслух, и звук голоса как-то глупо повис в прокуренном воздухе.

Я наблюдал в окно, как она возится с проволокой у калитки, как на ходу застёгивает куртку и поправляет сбившийся платок, как удаляется по рыхлой снежной тропе, оставляя за спиной чёрную звенящую тишину.

10

Катя уехала в город и забрала с собой бабушку. Первое время я даже скучал, правда, не по девушке, а по доброй старушке, к которой привязался, и с неприятным чувством представлял её пустую остывающую избу. Фёдор стал бывать реже. Когда заходил, то обычно садился на диван и распутывал длинную змеевидную леску. Иногда казалось, что он специально её запутывает и, распутывая, внутренне с чем-то борется и раздумывает, хлопая голубыми глазами. Словно, распутав леску, он сделает что-то важное в своей жизни, словно бы сам узел находился не снаружи, а внутри него самого. Мне стало жаль Фёдора, и я незаметно сунул ему в карман последние деньги.

Пару раз мы с Фёдором ходили на прорубь. Он сосредоточенно склонялся над лункой и озарялся неведомой мне страстью. Когда я наблюдал за ним, он выглядел пещерным

человеком – огромным, цельным, бессловесным. Впрочем, рыбалкой я занимался недолго. Однажды, в очередной свой приезд, Степан грубо отчитал меня за безделье и глупую философию, предложив, раз уж я решил тут остаться, помочь ему с продажей продуктов в местном райцентре, чтобы я смог заработать себе на хлеб. Схема вырисовывалась простая: каждые выходные я продаю творог, мёд, сало на рынке, а часть денег с продажи беру себе. Он обещал после работы высаживать меня на трассе, рядом с деревней, так как делать ему в “этой дыре” больше нечего. В город ехать не хотелось, а попробовать что-то новое в своей жизни – почему бы и нет.

11

Проснулся я рано, в пятом часу утра. С омерзением коснулся пятками ледяных половиц, почесал покрывшееся пупырышками тело и стал собираться.

Степан опаздывал. Закуривая, я думал о том, что так и не научился, находясь в деревне, не отзываться на приобретённый инстинкт времени. Моё естество живо откликалось на слово “опоздать” – куда-то, насовсем, или “остаться” – где-то, ни с чем, одному. И когда я по привычке напевал: “И времени больше не будет”, разгуливая по комнате, то лишь жалко улыбался, понимая, что время живёт во мне самом.

Я посмотрел в окно. Деревня стояла передо мной безмолвным ответом. Она отвечала на все вопросы, открывала

все тайны на дремучем, косном, чернозёмном языке. Ответ был прост и безутешен: жить.

Над степью висело бесцветное холодное небо. Ветер вьюжил и сметал с дороги снежную крупу на обочины. Я изредка открывал глаза, видя жёлтые фары редких встречных машин. Степан хмурился, навалившись на перемотанный изолентой руль, и слушал шансон.

Вскоре из-за холма показались крыши районного центра. Над селением ватными комьями клубился печной дым. Мы подъехали к рынку, находившемуся у главной и единственной площади, над которой возвышался похожий на снеговика памятник Ленину. Село ещё дремало, но рынок проснулся: щёлкал замками, шуршал пакетами, лениво переругивался и дымил дешёвыми сигаретами.

Степан показал место за прилавком и провёл инструктаж: – Во-первых, – наставительно начал он, – отсюда никуда не отлучаться. Захочешь по нужде – скажешь вон Любке, что конфетами торгует, чтоб посторожила. Во-вторых, надо будет с людьми разговаривать, а не просто стоять. А то не купят ни хрена. Ну и, в-третьих, будешь замерзать, я тут тебе чекушку оставляю. Только смотри, чтоб никто не увидел, а то налетят стервятники: дай выпить, дай выпить. Хорошо меня понял?

– Ага, – послушно ответил я.

– Ты не агакай, ты запоминай. Если будут спрашивать,

кто, мол, и откуда, скажешь – от Степана. А лучше помалкивай.

– Хорошо.

– Ну, давай, студент. Вечером заберу.

Я вытащил из большой клетчатой сумки продукты и аккуратно разложил их на прилавке. Местные жители не спеша проходили мимо. Некоторые останавливались и, не глядя в глаза, спрашивали цену. Устав повторять “недорого”, “разменяю”, “не горчит”, я стал просто наблюдать за людьми. Люди были разные: одетые в тряпье старухи, розовощёкие бабёнки с младенцами на руках, бледные с похмелья мужики. Но была в этих лицах какая-то общая черта – отсутствие в глазах радости от совершения ритуала покупки. Не так было в городе, где люди шли в гипермаркет как в театр, как на парад – в лучшей своей одежде, парами, с сияющими лицами. И, покупая что-то новое, люди и сами обновлялись, становясь причастными к какому-то большому и могучему братству. Похоже, здешних жителей магия потребления обошла стороной: покупая вещь, человек словно бы возвращал себе что-то давно ему принадлежащее, – без чуда, без новизны.

– Слышь, красавчик, – игриво обратилась соседка по прилавку, – ты ещё долго греть её будешь?

– Что? – не расслышал я.

– Я ж видела, тебе Степан четок дал.

– А, это...

– Это, это! – грубо засмеялась Любка. – Не дай замёрзнуть человеку, будь другом.

Я достал “гревшийся” в рюкзаке четок и протянул Любке.

– Ты чего, ёптить? – усмехнулась неопределённого возраста женщина. – Ты за кого меня принимаешь! Сначала сам накати. погоди, я тебе конфетку дам на закусь.

Я выпил из горлышка едкой теплоты и закусил памятной ещё с детства “Ласточкой”. Любка тоже выпила и осипшим от водки голосом спросила, кивая на мой прилавок:

– Чё, не берут?

– Так, мало...

– А ты забей, тогда и брать начнут. Пробовала – помогает.

– Да мне и так всё равно, – искренне ответил я.

Потом Любка от нечего делать стала рассказывать, что живёт одна с маленьким сыном, что муж её был да сплыл и уехал куда-то на Север за счастьем. Что подруга заняла в прошлом месяце пятихатку и не отдаёт, что поскорей бы уже наступила весна и растаял постылый снег. Что не хватает денег на компьютер для сына, и поэтому она стоит здесь как чучело, украдкой ест конфеты, толстеет и ждёт вечера, чтобы “свернуться”, купить бутылку пива и уставшей, разбитой, одинокой пойти к бабке за сыном. Что если не пить на такой работе, то можно умереть раньше, чем от водки, и что она рассчитывает дотянуть до пятидесяти, чтобы дожидаться внуков. Что в юности у неё был нормальный парень, а не как эти все, что она любила его, и они смотрели с крыши на звёзды,

а потом его забрали в армию и убили на войне...

Любка рассказывала свою историю на одной ноте, не оставившись, не смущаясь, с интонацией застарелого упрёка. В том, что она была несчастна, виновато было всё, что двигалось или лежало, присыпанное снегом: сам не таявший снег, рванные деньги, сунутые покупателями, неверная подруга, серое, дымившее к вечеру село, где она когда-то родилась и, вероятно, умрёт здесь же, под бабкиным ковром, а не на побережье Красного моря.

Когда мы свернулись, Любка предложила пойти к ней, чтобы выпить чаю и в тепле дожидаться Степана. Но я отказался, побоявшись чем-либо огорчить своего “начальника” в первый же день работы. Подъехав на ворчливом грузовике к назначенному месту, Степан с усмешкой принял от меня скудную прибыль и рассеянно, как сумасшедший осеннюю листву, сунул себе в карман.

12

Наконец произошло то, чего я внутренне побаивался и чего ждал, чтобы совершить окончательный эксперимент над собой. Я остался один в деревне.

Фёдор уехал в город мириться с женой и баловать по-детски говорливого сына, которого любил больше жизни. Сын, в отличие от родителей, был здоров. Он мог слышать многоголосую симфонию жизни, звучащую в его чутком сознании –

майским дождём за окном, шелестом листьев, волшебными колокольчиками над кроватью; мог беззаботно картавить этой музыке в такт, разбрасывать вещи и не думать о необходимости порядка, слабо мерцавшего в строгом и недобром “нельзя”.

Одному в избе было жутковато, подбиралась тоска, и я отправился в хижину Фёдора. Хотелось увидеть, почувствовать его жилище изнутри, догадаться по оставленным вещам, чем жил этот человек, о чём думал.

Дверь в избу Фёдора была не заперта, замка не было. Вместо него в замочные кольца была вставлена осиновая палка, выскользнувшая от первого же рывка.

В жилище царила мерзость запустения. Комната напоминала берлогу. На окнах вызревал иней, на столе громоздились банки, бутылки, грязные тарелки с яичной скорлупой. Вверху из матицы торчали два зловещих крюка, на которые в старину вешали детские люльки и уставшие от жизни тела. Я прошёлся по комнате и зачем-то заглянул в печь, обнаружив там вместе с золой и смердящими окурками горелые тетрадные листы.

– Вот так так, – подумал я вслух, заметив характерные столбцы, – да это стихи!

Мне и в голову не могло прийти, что Федя – глухонемой алкоголик и, в сущности, большой ребёнок – мог что-то писать, создавать из вещества жизни самое совершенное, на что способно человеческое слово, – поэзию. Я пошуршал

останками и прочёл первое, что можно было более-менее разобрать:

в беспамятстве кашу едят в дремучем селе
компот, кутья, бидончик с извёсткой под стулом забыт
гроб сыреет во тьме, не то что забит
народ уж навеселе...

Читая, я вспомнил поминки, заботливую старушку, угрюмого Степана, жестоко обманутую Катю... Дальше было сложно что-либо прочесть из-за корявого почерка и прожжённых мест, но уцелело окончание:

...я усну под столом, только в погреб полезу едва ль
там светлее и суше, чем здесь между шкафом и печью
закипит самовар, чьи-то руки сорвут вуаль
и беззубый старик поперхнётся своею речью

Я стоял как вкопанный и не верил своим глазам: неужели это и впрямь сочинил Фёдор? Но корявый почерк был его.

Образ простака-Фёдора и эти строки про вуаль, от которых веяло сумерками Серебряного века, загадочный беззубый старик, погреб, в который зачем-то нужно было лезть – всё это никак не укладывалось в моей голове. Язык нащупывал, вспоминая, определение (которым не так давно я щеголял в университете), чтобы выразить теперешнее состояние: ког... когни-тив-ный дис-со-нанс, – тяжело всплывало где-

то в потёмках памяти. Я увидел на столе зелёную бутылку со знакомой жидкостью и машинально сунул её в карман. Уходя, наступил на что-то мягкое и с изумлением обнаружил под подошвой змеевидную леску, запутанную безнадёжно. Я поднял леску, повертел её в руках, пытаясь распутать хоть один узел, плюнул, бросил леску под стол и вышел на воздух.

Всю дорогу до избы и после, придя домой, до самой ночи я повторял изречение Сократа. Один раз по-русски: “Я знаю, что ничего не знаю”. А другой – зачем-то по-латински: “*Scio me nihil scire*”. И как гармонично ложились эти древние слова на деревенскую тишину! Я забеспокоился о своём душевном здоровье, потому что, кроме всего прочего, мне хотелось, подобно Диогену, с фонарём или, в крайнем случае, с зажигалкой отправиться по деревне на поиски Человека. Выпито и выкурено к этому времени было немало...

И действительно, пьяно размышлял я, лёжа на кровати, что я знаю об этих людях? Я сужу о человеке близоруко и небрежно, полагаясь на первые впечатления... Я встречаю по одежке и провожаю по одежке, с той лишь разницей, что во втором случае я одеваю человека сам из того, что есть в скудном гардеробе моего ума для ближнего. Воображаю себе ярмарочных кукол и думаю, что хорошо разбираюсь в людях. Добрая баба Маша, скрытный романтик Степан, гордая Катя, одинокая и стареющая Любка... Что значат эти слова применительно к сокровенным безднам их жизней? Ниче-

го, – заключил я, гася очередной окуроч. Слова фальшивят, дwoятся грязными созвучьями в моём сознании – и больше ничего.

Не глядя, я сунул руку под кровать, где хранились теперь мои книги, взял первую попавшуюся, открыл на случайной странице и прочёл: “Люди, оказавшиеся выброшенными из мира гармонии, где уравновешены страсть и справедливость, всё ещё предпочитают одиночеству скорбное царство, где слова уже не имеют смысла, где господствует сила и инстинкты слепых тварей”. Взглянул на обложку: Альбер Камю, “Бунтующий человек”. Ага, стало быть, я выбрал одиночество, а не бунт. Не пошёл резать правых и виноватых, переворачивать культурные слои и припаркованные машины, сдабривая всё это зажигательной смесью... Но разве одиночество не есть бунт? Разве это одно лишь бессилье, на что презрительно намекает автор? Не подрагивает ли в ознобе сама земля от того, что я лежу здесь совершенно один, никого не любя, ничего не желая, кроме того, чтобы в пачке оставалась хоть одна сигарета? Ибо, если пачка окажется пуста, бунтовать будет незачем, думать будет незачем и жизнь потеряет свой смысл... “Нет, не подрагивает”, – ответил я сам себе, забываясь во сне.

Когда я уснул, духи выползли из печи, из грязных щелей, из сырого погреба, из тёмных углов – и стали танцевать. Когда знаешь всё или не знаешь ничего, остаётся одно – танцевать. Духи знали всё. Духи вальсировали по избе, склоня-

лись надо мной и шептали в самое ухо: жить, жить...

13

От ледяной воды ломило зубы, стучало в висках, но пил я жадно, большими глотками, орошая высохшее нутро. Ну что ж, утеревшись грязным рукавом кофты, рассуждал я, слепые видят, мёртвые воскресают, а Федя пишет стихи. Что же в этом странного?

С похмелья изба казалась чужой. Печь со вчерашнего утра была не топлена и сиротливо молчала. Несмотря на головную боль и отвратительный вкус во рту, душевно было легче. Может, потому что в окна просачивался утренний свет, прогнавший ночных духов. Или потому что тело просило тепла и привычных действий, необходимых для растопки печи. Хочешь не хочешь, а нужно что-то делать, как-то заполнять время, выпавшее на твою долю до следующих выходных.

Растопив печь и пожевав хлеба с чаем, от нечего делать я стал бродить по дому. Вспоминались заученные прежде стихи, отрывки песен:

Через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава,
Через три она снова жива...

О смысле произносимого вслух я не думал. Вспомина-

лось другое: октябрь, ночной вокзал, слепивший прожекторами. Нас трое. Мы стоим на мосту, курим “Космос” (потому что, по преданию, его курил Цой), посмеиваемся, сбрасываем пепел на мазутную спину бесконечно длинного поезда. Мы провожаем друга. Провожаем далеко, дальше самой Москвы, хотя ни один из нас не был и в столице края. И никто не понимал тогда, почему нужно разлучаться с другом, если он сам этого не хочет. Может, потому что его родители этого хотят (да, хотели)... или потому, что его фамилия Шакинис? Глупо как-то – родители, фамилия. И каждый сознавал в тот момент, что дороже дружбы ничего нет. И как бы трудно ни жилось тогда в стране, мы знали, что счастье не измеряется пространством или сытым желудком...

Только самых близких —
Друзей и кошек,
Собак и чёрных —
С белыми полосками.
Смеяться в поле,
Шататься на воле,
Играть в весну —
Дурачками подростками...

И где теперь мои друзья? Где их длинные волосы и ясные голоса, наивные стихи, которые мы читали друг другу на лестничной площадке? Печальнее всего, что я знаю и где они, и почему они забыли свои стихи. Каждый из них по-

своему “упаковался”, встроился в систему современной жизни: остриг волосы, нашёл работу, родил ребёнка, развёлся с женой. Быть может, я просто завидую и боюсь жить так, как они. Не знаю...

Я шёл по деревне бесцельно, не выбирая пути. Было приятно слышать хруст своих шагов, не видеть ни чужих следов, ни прокатанной машинами колеи. Привычно тускло светило солнце, и меня радовало, что я разучился членить сутки на промежутки времени: мог встать ещё до рассвета, а мог проваляться до самого вечера – некуда было спешить.

В деревне так просто кричать в пустоту, не оглядываясь, не боясь, что чьи-то праздные уши сочтут тебя сумасшедшим.

– А-а-а! – срывалось вороньё с веток.

– А-а-а! – вторила эхом степь.

14

Неделя промелькнула как смутный сон. Продуктов, купленных Степаном, хватило ровно до субботы. Вместо сигарет уже пару дней я курил цейлонский чай, завёрнутый в страницы “Бунтующего человека”. Подружился с мышью. Заприметив её под столом, стал подкармливать. Мышь осмелела и несколько раз выбегала на середину кухни с вопрошающим видом. Потом она мне надоела, и я выбросил её за

хвостик в сугроб. Начал писать воспоминания. Исписал толстый блокнот, а потом сжёг в печке: не понравилось. Я подумал, что не прочь бы теперь встретиться с Любкой и послушать её путаную речь.

Собрав вещи в рюкзак, постояв некоторое время в молчании в тёплой избе, – так прощаются с покойником, – я запер за собой дверь, прикрыл хлипкую калитку и побрёл к трассе.

Валенки вязли в снегу, во рту было как в заварнике, который забыли очистить и вымыть. Прождав два часа на трассе, я пришёл к выводу, что Степан не приедет. Было всё равно, но в деревню возвращаться не хотелось. Я стал ловить встречные машины. Сквозь мой внешний деревенский облик, видимо, просвечивал чужак, поэтому местные не останавливались. Я начал здорово замерзать и делать странные телодвижения, похожие на шаманский танец. Вскоре, проехав сначала далеко вперёд и остановившись, на задней скорости подползла вишнёвая “Нива”.

– До Горюново подбросите? – жалобно просипел я.

– Подброшу, садись.

Водителем оказался молодой батюшка с модной рыжей бородкой и в рясе. В салоне было тепло, чем-то приятно пахло, должно быть, ладаном. Я мгновенно разомлел и зажмурился от удовольствия.

– Здесь в такую пору и замёрзнуть можно, – сказал батюшка, выруливая на трассу. – Когда метель, машин почти не бывает. Да и местные редко чужих берут, боятся.

– Это я понял, – грустно улыбнулся я на слово “чужих”.

Пока мы ехали, я разглядывал маленький “иконостас” на передней панели, который вместе с подушкой безопасности на иных машинах, вероятно, должен был оберегать людей от смертельных аварий. Было забавно думать, что когда-то икона с трепетом наносилась на стены катакомб, затем перекочевала в великолепие византийских храмов, а теперь вот приклеивается на автомобильные панели.

– От благочинного еду, – начал улыбчивый батюшка, видимо, не прочь побеседовать за рулём. – Говорит, денег мало привожу. А у меня приход – полторы старушки, какие там деньги. Сам-то еле концы с концами свожу, да и матушка на сносях. Вот-вот пятого родит.

Батюшка рассказывал с таким весёлым видом, будто ему благочинный вручил митру, а не отчитывал за небрежное ведение приходского хозяйства.

– Перестали люди в храм ходить, – сожалел священник. – На праздники только, да и то – пьянь одна. Вот протестанты – те молодцы. К ним и молодёжь тянется. В клубе соберутся – гитары, танцы, веселье. Есть на что посмотреть. А в храме – какое веселье...

– Так они ж еретики, – решил я поддеть батюшку.

– Да хоть бы и еретики, зато не пьют и работают. Я втайне от благочинного молодёжное собрание устроил. Ребят из школы привёл. О нравственности говорили, пели. В общем, с пользой провели время.

Батюшка рассуждал современно и здраво, деловито вёл автомобиль... И всё же – нет, не ладаном пахло в салоне, приняхался, понял: хорошим мужским одеколоном. А за окном в белой степи мне чудилось бряцанье кадил, мерещились луковки церквей, погосты, странники в лаптях. И то, как странники заунывно тянули духовный стих, сыпали в мои ладони спелую землянику, кланялись в пояс, видел я уже во сне...

– Ну всё, приехали, – нарочито громко пробасил священник. И я очнулся.

Мы стояли на площади в центре села. Рядом, в чёрных клубах дыма, рычал, тужился и нагребал снежные кучи во-круг площади гусеничный бульдозер. Выйдя из машины, я почувствовал, как невидимые ледяные змеи пробираются под одежду, и невольно ссутулился. Подумал: “Градусов тридцать, не меньше”. Батюшка, колеблясь, благословлять ли меня по чину, предпочёл светский жест и нерешительно протянул руку. Я поблагодарил его, надел на плечи рюкзак и отправился в сторону рынка.

Чем-то встревоженная Любка встретила меня словами:

– Привет! Степан звонил. Сказал, что перезвонит...

– И всё?

– Всё. Сказал, что перезвонит.

Я не сразу догадался, откуда ему знать, что я вообще сюда приеду. А потом сообразил: ну да, куда же я денусь без продуктов.

Любка заметно прихорошилась. Вместо платка на ней была меховая шапка, открывавшая золотые серьги на бледных ушах. Глаза были тщательно подведены, губы ярко накрашены. Говорила она не так бойко, как прежде, а нехотя, и часто отводила глаза.

– Замёрз, поди. Хочешь? – застенчиво показала она миниатюрную стальную фляжку.

– Хочу.

Я не спеша отпивал из узкого горлышка – внутри оказался коньяк, – закусывал горячим пирожком и с лёгким сердцем поглядывал на голый прилавок. Было приятно ничего не делать, ни за что не отвечать, никому не быть должным. Беспокойло только отсутствие Степана и его обещанный звонок.

– Ну что, согрелся? – загадочно улыбнулась Любка, и тут же у неё запищал мобильник.

Загадочность вмиг исчезла, когда она визгливо, по-базарному заговорила в трубку:

– Да! Приехал! Здесь он! Даю...

Любка протянула телефон. Звонил Степан, но говорил словно бы кто-то другой, сдавленным голосом:

– Значит так, студент... эта... В общем, Федька повесился. В туалете его нашли, значит... на батарее он... Поэтому я не смог. Ты там... эта... У Любки, что ли, денег займи. Мне пока некогда. Давай...

В зале у Любки без звука мерцал старенький телевизор. Она включала его машинально, когда приходила домой. Узнав, что произошло, поохав и повздыхав немного, Любка, как умная баба, ни о чём меня больше не спрашивала. Пока я тупо смотрел в экран, она возилась на кухне: хлопала дверцей холодильника, собирала на стол. Сына в этот вечер она оставила у бабки. Я слышал, как в ванной зажурчала вода, потом раздался её голос:

– Пойди поешь, готово уже.

Я не отозвался.

По телику показывали голливудский фильм. В детстве, когда у телевизора пропадал звук, я сам придумывал диалоги героям. Теперь мне захотелось поиграть в ту же игру. На выстриженном газоне в обнимку сидела молодая парочка:

– Ты меня любишь, Стив?

– Конечно, дорогая.

– А ты чистил зубы “Кометом” сегодня утром?

– Но, милая, “Комет” – средство для раковин. Я чищу зубы “Колгейтом”.

– Ну да, как я глупа. А ещё читаю Бердяева перед сном...

Занятие быстро наскучило. Я поднялся с дивана и стал осматривать комнату. На стенах висели ковры. Чуть ли не полкомнаты занимал пыльный сервант, за стеклянными

ми створками которого виднелись тарелки, рюмки и нелепо прислонённые к ним фотографии родни. “Неужели это тот самый муж, уехавший за счастьем?” – рассматривал я угрюмое низколобое лицо с хитрыми щёлками вместо глаз. А это, наверное, её сын. На меня смотрел белобрысый мальчуган в костюме мушкетёра и смешном новогоднем колпаке. Вот вырастет в этом селе, тоже станет угрюмым и вместо глаз появятся щёлки...

Любка вошла тихо, незаметно. На ней был розовый китайский халат, выделявший соблазнительно тяжёлые бедра. Она делала вид, что смахивает с волос остатки влаги.

– Я уж думала, ты поел, – лукавила Любка, вороша голову полотенцем.

– Что-то не хочется, – ответил я вяло.

– Ну, пойдём хоть чаю тогда выпьем.

Закурив на кухне, я заметил, как аккуратно, по-женски был сервирован стол. Появились чашечки, блюда, салфетки, мельхиоровые ложечки. Всё это она приготовила для меня. Ей, как когда-то в юности, хотелось понравиться, угодить мужчине, чтобы на неё смотрели как на женщину, а не как на Любку-торговку. Я не фальшивил, когда мельком взглядывал на оголившееся колено или приоткрывшуюся полную грудь, которую она тут же закрывала. И, как всякая одинокая баба, она ловила, угадывала мои взгляды, даже если стояла ко мне спиной, и бережно клала в заветную женскую шкапу.

– Ты, чем курить, варенье лучше попробуй. Сама варила.

И я пробовал варенье, закусывая пирогом и запивая чаем.

А Любка, глядя на меня, сияла.

– Федя-то этот другом тебе, что ли, приходился? – осторожно спросила хозяйка, сделав грустное лицо.

– Ага, другом, – нехотя ответил я, отхлёбывая из кружки.

– Беда-то какая...

А я отчётливо сознавал, что ничего не чувствую, никакой беды. Что если я и задумывался, почему это могло произойти, то на ум лезло лишь “наверное, так надо” – мантра, рождённая в деревенском подполье; что меня теперь больше беспокоит волшебный мир, кроющийся за китайским халатом, нежели диалектика Фединой жизни. Беззубый старик, вуаль, прорубь, детское улыбающееся лицо – вот и все воспоминация...

– Ты допивай. Я тебе на полу постелю, – почти шёпотом сказала Любка и ушла в зал.

Мне не пришлось спать на полу. Не помню, как так случилось, но я увидел “волшебный мир” во всей его трепетной наготе: как скользнул розовый халатик на шершавый пол, как почувствовал губами тепло её живота и мелкую дрожь голодного женского тела...

После она гладила меня по голове, лежавшей на её теплой груди, утирала мне слёзы и матерински шептала: “Ну чего ты... Ведь так было хорошо. Друг твой теперь на небесах, с ангелами. А тебе жить надо, жить...”

ПОСТ ИЗ БЛОГА КАТЕРИНЫ

Сажу за ноутбуком, согреваюсь горячим кофе и глажу хитрющего в мире кота. За окном крупными хлопьями идёт снег. Чудно! А ещё неделю назад я была в дремучей глуши, где разве что не воют волки, о чём и хочу вам рассказать.

Я поехала в деревню, чтобы забрать бабушку в город. Бабушка у меня старенькая, больная. Мама наказала какими угодно способами выманить её оттуда. Пожилым людям, знаете, свойственны предрассудки. Они хранят старые фотографии, заплесневевшие платья и прочее старьё как некие сокровища. А меж тем не замечают, что о них заботятся дети и внуки, и не понимают, что в избе с прогнившей крышей и щелями в указательный палец жить опасно. Бабушка до сих пор порывается от нас сбежать и боится ходить в цивилильный туалет, потому что, дескать, оттуда “всё слышно”.

Приехав в деревню, я оказалась в тёмном Средневековье. Бабушка велела смыть всю косметику (ибо негоже перед покойницей), переобула меня в валенки и дала старый платок на голову. Да, забыла сказать, что я сразу же попала на похороны. Умерла старая подруга моей бабушки. И мне теперь

трудно представить, что я провела какое-то время в этой глуши, с гробом, который волокли до кладбища пьяные мужики и, не поверите, роняли его несколько раз с саней. О безобразных поминках я вообще молчу. Мужики пили самогон и закусывали варёными яйцами. Ужас! В избе было накурено так, что хоть топор вешай. Ну, теперь вы немного представляете, куда я попала...

В этой деревне я встретила одного парня. Он сказал, что приехал собирать фольклор, но я ему не поверила. У него была борода, от его толстой кофты ужасно пахло потом. Честно говоря, до сих пор не понимаю, что он там делал. Он мнил себя каким-то затворником. В его доме я обнаружила много книг (поминки справляли у него), и на деревенского алкоголика он не был похож. Не думаю, что его хватит надолго. А впрочем, он мог бы послужить интересным персонажем для рассказа. Так что дерзайте, писатели! Вопросы о подробностях пишите в личку.

P.S. А ещё я решила наконец перебраться с моим парнем в Питер! Да-да, в Питер. Неужели я свалю из этого города... Билетики на самолёт красуются между двумя яблочками на столе и манят адски. Я уже затрепала путеводитель по северной столице и отметила, куда мы пойдём в первую очередь. Лиза, думаю, ты догадываешься, о чём я... ха-ха!

Нет ничего тоскливее бледного холодного утра в чужой квартире.

Я неслышно выполз из-под одеяла, подобрал с пола вещи, оделся, не умываясь, с оглядкой на смятый бугорок. Лицо женщины было расслабленным, некрасивым. Рот был чуть приоткрыт, и в несвежем углублении виднелась, поблёскивая, дешёвая металлическая коронка.

“Люба, Люба...” – шевелились искусанные ею губы.

Скорым шагом я направился в сторону трассы. Меня слегка подёргивало и пошатывало. Не было желания думать, от чего – от температуры или больных нервов. Возможно, от того и другого. Ленин, возвышавшийся над площадью, указывал в правильном направлении – в сторону обетованной трассы, от которой я чего-то ждал, за которую цеплялся, как за последнюю возможность выбраться из подполья.

Машин не было. Дорога была пуста и уходила широким заснеженным ковром в город моего детства. Теперь я сознательно хотел удрать от всей этой тишины – припасть к телевизору и бессмысленно тыкать кнопки до изнеможения. Или уткнуться в пустую книжку с пёстрой обложкой и зачитать до дыр (и перечитать). А потом сесть переписываться со всеми, знакомцами и незнакомцами. И больше-больше

ше этих идиотских смайликов, прикрывающих слабоумные фразы, больше позитива и громкой музыки... Отрекаюсь! Отрекаюсь от тебя, тишина!..

До въезда в город меня подбросил приклатнённый парень на “шестёрке”. Всю дорогу в салоне шумело радио. Водитель, надвинув кепку на глаза, курил одну за другой и лишь в конце пути зачем-то спросил меня, не прячусь ли я от ментов.

С южной стороны город смотрел суровым урбанистическим пейзажем. Над одинаково серыми пятиэтажками и тополями возвышались некогда горячие и пульсирующие, а ныне пристыженно молчащие заводские трубы. Город держался заводами, гордился заводами – когда-то. Когда заводы были градообразующим очагом, системой, богом. Вместе с трубами остыли и людские надежды. За мной наблюдали хитрые глазки пацанов, кучкующихся у подъезда.

– Смари, Колян, нарик, чо ли. Давай окучим...

В городе не было страшно. Даже местные гопники, которые в прошлом оттащали меня за волосы и отбили бока так, что я заплевал тротуар кровью, казались хорошими, но несчастными людьми. В этих ребятах, по колено стоящих в семечной шелухе, нервно трепещет сердце и жаждет осуществления немедленной правды: “Правда в том, братишка, что ты неправ, а таких не должно быть в нашем районе. Получай...”

Словно подросток, я задыхался влюблённостью в свой город. Хотел обняться и поговорить с каждым встречным,

спросить – как дела, что нового... На меня смотрели как на помешанного. Девушки морщились, старики брюзжали, пациенты напрягали шейные жилы.

Я остановился у теплотрассы, где блестела небольшая лужица и мирно сидели нахохлившиеся голуби. Склонившись над водой, я болезненно всматривался в мутное отражение, где не то улыбался, не то собирался заплакать маленький мальчик, чем-то похожий на меня. Когда рябь прошла, я отчётливо увидел шапку-ушанку со звёздочкой, детское пальтишко, большие удивлённые глаза... А потом пришла темнота.

Стоит ли рассказывать, как я отлёживался в родительском доме, как мама водила меня к психологу и я, чувствуя вину перед ней, обещал ходить на каждый сеанс. Как взял академический отпуск и удалился из социальных сетей, чтобы никто не приставал с вопросами. Как устроился консультантом в магазин бытовой техники, но вскоре уволился, не поладив с начальником. Как работал дворником и сметал осеннюю листву на обочины, любуясь на то, как раннее солнце освещает пустоту ещё не проснувшегося города... Ну вот, сам того не желая, рассказал всё. Что ещё добавить... Не так давно я стал снова думать о деревне. Но – не как раньше. Теперь я общаюсь с ней на расстоянии.

Деревня есть тайное прибежище моих мыслей, сумрачное и дикое, куда я часто сбегая, закрыв глаза, и тогда в засне-

женных окнах моей избы загорается свет.

Пожилой мальчик

Саша рано стал понимать, что мир, в котором он родился, несправедлив. Он ползал по обшарпанному полу студенческого общежития, используя мамины конспекты в качестве случайных холстов для своих рисунков. Саша рисовал грузовики, солнце и папу... Папы не было. Он тихо спивался в глухой сибирской деревне и разводил кур. Но рисовать папу было приятно. Особенно хорошо получались большие печальные глаза и армейская тельняшка. Саша запомнил папу именно таким.

Потом к маме стали приходить гости. Они лохматили Сашины волосы, говорили “мужик растёт”, давали конфеты, и, когда мама отправляла сына к старой вахтёрше поиграть занимались “уроками”... Саша не любил вахтёршу. А та сладострастно щипала его за пухлые щёки и воняла лекарствами.

Когда Саша пошёл в школу, он стал ненавидеть людей. Однажды к нему подошёл толстый мальчик из третьего класса и спросил:

– У тебя есть папа?

– Есть, – ответил Саша.

– Врёшь, нету у тебя никакого папы. Мне пацаны сказали, что ты с мамкой живёшь.

После этого разговора Саша начал стареть.

Учась в пятом классе, на уроке труда он смастерил мини-

атюрный памятник из картона, указав на нём свои инициалы и дату смерти. Пацанам работа понравилась, но трудовик по прозвищу Чеснок поставил ему двойку и сказал: “Ты больной ребёнок, Саша. Из таких вырастают убийцы и ма-ньяки”. Саша дерзнул подарить свою поделку учительнице по литературе, которую любил, но та лишь прослезилась и долго гладила мальчика по квадратной голове, отчего у неё неделю болела рука.

В старших классах Саша влюбился в отличницу Олю. В её цвета мартовского льда чернила, в её бледную прозрачную кожу, сквозь которую просвечивали синие жилки из тех же чернил; в её хрупкие пальчики, сжимавшие карандаш, готовые хрустнуть в любую секунду от лишнего усилия.

– В тебя Сашка втюрился, – говорили Оле большеглазые школьницы.

– Это тот, у которого на голове седые волосы?

– Да, у которого на квадратной голове седые волосы, – звонко хохоча, уточняли школьницы.

Оля на время сделалась задумчивой, как пушкинская Татьяна. И округлые буквы её стали уже, и почерк стал похож на кардиограмму умирающего. Но потом она вспомнила, что влюблена в Мишу из 10 “Б”, который играл в школьной рок-группе на гитаре, и стала сама собой.

Когда Саша окончил школу, мама заволновалась, что сына могут забрать в армию и убить на войне. Она сгребла все его рисунки со стола и унесла в военкомат. Саше дали отсрочку

по состоянию здоровья и поставили диагноз: расстройство личности.

Первое время Саша сидел дома и рисовал. То потолок нарисует с зияющим куском синего неба, то агонизирующую мышь в мышеловке. Однажды в комнату вошла мама и сказала:

– Сынок, ты уже взрослый. Я должна сказать тебе: у нас дома будет жить мужчина. Его зовут дядя Коля.

– Хорошо, мама. Я запомню, – ответил Саша, продолжая рисовать.

Через месяц мама снова вошла в комнату. С ресниц её, густо крашенных тушью, капали слёзы.

– Сынок, дядя Коля оставил нас. Тебе нужно найти работу.

– Хорошо, мама. Тогда я буду работать шофёром, как мой отец.

Так у Саши появились первые знакомые по работе. Это были простые работяги, которых он возил на дребезжащей “таблетке” к местам канализационных аварий. В свободное от работы время мужики собирались в гараже и угрюмо резались в дурака. Когда появлялась водяра, рабочие устраивали “праздник”, и тогда в гараже становилось дымно и весело.

– Пошли поссым, – обратился к Саше слесарь Серёга в разгар очередного праздника.

Это означало, что Саше предлагается пройти своего рода инициацию, после которой он становился полноценным чле-

НОМ КОЛЛЕКТИВА.

– Не хочу, – ответил Саша.

– Как это “не хочу”, – неодобрительно заметил Серёга, призывая в свидетели сильно выпивших мужиков. – Либо ты, мля, с нами. Либо ты мудак.

– Сам ты мудак, – печально ответил Саша, получив от слесаря Серёги неожиданный удар в печень.

С тех пор Саша перестал быть шофёром и стал постижёром. Он прошёл платные курсы на парикмахера и теперь клеил бороды артистам местного драмтеатра. После спектакля артисты, как и слесаря, накачивали себя водкой. Но сценарий богемного “праздника” был значительно сложнее, если не сказать изощрённее. Сначала артисты много шутили, курили, делали друг другу комплименты. Затем рыхлые актрисы с повадками уличных женщин поставленными голосами издавали истошные вопли, указывая тем самым на кульминацию, и начинали раздеваться... Становилось темно от табачного дыма и разврата. А после, когда дым рассеивался, артисты плакали, обнимали друг друга и вспоминали то далёкое время, где всё ещё было возможно – и Гамлет, и князь Мышкин, и Нина Заречная...

– Александр, знаете, у вас такое загадочное лицо... вам нужно играть, – мурлыкал бархатым баритоном пожилой артист, дотрагиваясь до Сашиного колена.

– Мне грустно, – сказал Саша.

– Вы ещё так молоды. Отчего же вам грустно? – сентимен-

тально произнёс артист, подняв брови домиком.

– Я слишком много думаю.

– О чём же вы думаете, мой мальчик?

– Вы правда хотите знать?

– Да, конечно.

– О том, как жалок и одинок престарелый пидор в провинции. Мне бесконечно грустно...

Саша оставил работу постижёра, затворился в комнате и кропотливо работал над автопортретом. На его квадратной голове серебрились взъерошенные волосы, путалась рыжая борода. Испорченной пластинкой за окном шипел дождь. Зеркало тускло отражало осенние сумерки, забредшие в комнату, и лицо пожилого мальчика со случайными мазками краски на щеке. Мальчик стыдливо глядел на себя в зеркало, как на чужого, и водил кистью по холсту. Робко постучав в дверь, в комнату вошла мама и сказала:

– Саша, у тебя слабые нервы и безотчётная тревога с самого детства. Ты никогда не верил в Деда Мороза. Ты не любил картинки художника Билибина в старой книжке со сказками, помнишь? А ещё боялся смотреть ночью в окно... Твой папа умер.

– Мама, от чего он умер? – спросил Саша, осторожно проводя красную линию.

– Папа умер от тоски, сынок.

– А как же его куры? – говорил мальчик, не отрываясь от холста.

– А куры походили-походили, поклевали-поклевали и тоже сдохли, сынок.

– Мама, мне очень грустно. Я где-то читал, что Бог умер. Жизнь несправедлива, мама...

Как-то раз Саша привёл в дом женщину. Он познакомился с ней на улице, когда пил пиво на лавочке. Она попросила купить ей пива, потому что хотела пить, и ещё тонких ароматических сигарет. Саша сказал ей: “Ты пьёшь пиво и не можешь насытиться, а я знаю, где находятся источники воды живой”. И повёл её показывать свои картины.

– Узнаёшь меня? – спросил Саша у женщины.

– По-моему, ты спятил, – ответила женщина, всматриваясь в тёмное пятно с красной линией посередине. – Давай лучше пить пиво.

– Нет, женщина, ты не права, – возразил Саша. – Тут весь я. А эта красная линия – мой папа. Хочешь, я и тебя нарисую?

Это был единственный случай, когда Саша мог стать мужчиной. Но не стал. Ему это было неинтересно. Саша быстро старел. Он постарел так, что уже не мог передвигаться без костыля в свои двадцать с небольшим лет. Старики на лавочке у подъезда принимали Сашу за своего и спрашивали, получил ли он пенсию. Рисовать Саша бросил, зрение упало. А то главное, что хотел изобразить, алело тревожной линией на его автопортрете. Всё остальное он и так прекрасно понимал, без живописи. Он знал, что скоро умрёт.

Однажды Саша увидел по телевизору передачу, где говорилось, что некоторые животные уходят умирать на пустыри, в глухие чащи, подальше от людей. Он подумал: “Чем же я хуже собаки? Поеду умирать в отцову деревню”.

И поехал. И умер.

Сарабанда

В этом районе нужно было не ходить, а петлять, как петляют лисы, унося свою шкуру от охотников, путая следы. Район был окраиной города и назывался Шлакоблочный. В серых двухэтажных домах, сделанных из заводского шлака, жили простые русские люди: бывшие зэки, гении и рабочие мёртвого завода, ставшего когда-то первопричиной всей здешней жизни. Завод умер, но люди остались жить. Самой судьбой им было предначертано – родиться в шлаке, жить в нём, засыпать им дырявые улицы, хранить его под сердцем и выплёскивать в самые непредсказуемые минуты на тех, кто способен на улыбку. Мы с моим приятелем по прозвищу Лав знали об этом не понаслышке, по-звериному огибая охотничьи ловушки, приманки в виде кажущихся безлюдными тёмных переулков. Острым чутьём не раз битых неформалов мы выбирали безопасные тропы.

Мы подвергали себя опасности не просто так. Мы шли, чтобы родить новые звуки, чтобы на пустырях с горами шлака проросла музыка жизни и люди бы радостно улыбнулись, обнажив остатки чёрных зубов. Ведь мы были музыкантами. А может, и просто шли к будущему инженеру, а тогда философствующему панку Зобу – от нечего делать пиная кедами осенние листья... Уж и не помню.

До двери философа мы добрались живыми, но дома его

не оказалось. В упор на нас смотрел мутный глазок, ехидно подмигивая, словно бы давая понять, что хозяин может находиться где угодно – отбиваться в подворотне от гопников, лежать на территории детского сада в луже собственной блевотины, штудировать Ницше на пустыре – только не дома.

– Чё делать будем? – спросил длинноволосый Лав, похожий на тощего индейца, сутулясь от тяжести висевшего за его спиной баяна.

Инструмент был казённый, училищный. Он был необходим для создания народного колорита в нашей музыке, а точнее – в “гонах”. Гон – это особый музыкальный жанр, возникший вследствие реакции юной крови (с примесью палёного спирта) на голую реальность.

– Не знаю, – хмуро ответил я, доставая помятую пачку “Примы”.

Мы спустились на лестничную площадку у окна и закурили. В окошке виднелись покорёженные песочницы-мухоморы, в которых вместо песка лежал шлак, но играющих детей я там никогда не видел. Дети в этом районе как-то сразу мутировали в малолетних преступников и, сидя на корточках в широких кепках-хулиганках, чем-то напоминали грибную поляну.

Зоб хоть и называл себя панком, обладал исключительным эстетическим вкусом и гостеприимством. Посещение его однокомнатной квартиры было для меня всегда событием. Зоб приучил меня к хорошему крепкому чаю, который

следовало пить без сахара, не спеша, из белых чайных чашек, в процессе сократического диалога. При этом питался он обычно серой лапшой (хранившейся в капроновом мешке в углу кухни), обжаренной с луком в большой закопчённой сковороде. От него же я однажды унёс увесистый том “Братьев Карамазовых” Достоевского и кассету с “Русским альбомом” раннего Гребенщикова.

– Зоб, где тебя носит?.. – задался я риторическим вопросом, пуская дым в стену.

– Тады обратно пошли, – спокойно сказал индеец.

Баян в твёрдом чехле стоял тут же, на бетоне, и молчал. Я позвенел оставшейся мелочью в кармане и отозвался:

– Нет, так просто мы не уйдём. Предлагаю купить портвейна. Тут хватит.

Я выгреб мелочь. Лав хитро посмотрел на неё опытным индейским глазом, и на лице его засветилась детская улыбка. Он водрузил баян на хрупкие плечи, и мы отправились в магазин.

Чутьё нас не подвело. Мы обогнули детский сад, прокрались по заросшему коноплём переулку, вышли на проезжую улицу (благоразумно спрятав волосы под рубахи) и, прикинувшись местными, развязно вошли в магазин. Прикинуться местными было непросто: на нас косились не только недавно отбывшие наказание граждане, но и густо покрашенные продавщицы – жёны или сёстры этих самых неулыбчивых граждан. Нас выдавало всё (чего мы за собой не могли заме-

тить): раскованная походка, глаза (читавшие Чехова и Мандельштама), плавные движения рук (привыкших к гитарным грифам), увесистый баян за плечами Лава... “Человеческое, слишком человеческое!” – словно бы говорили нам исподлобья любопытствующие взгляды. Они были по-своему правы. Это их территория жизни, и поэтому нефиг тут ходить с баянами и чеховскими глазами.

– Батон хлеба и бутылку портвейна, пожалуйста.

Запрос был не понят. Толстая продавщица в грязном переднике смотрела на меня с явным недоверием. Я решил опустить слово “пожалуйста” и повторил просьбу:

– Мне хлеба и портвейна за шисят рублей.

– А ты мальчик или девочка? – с нездоровым любопытством спросила женщина, глядя мне прямо в глаза.

Пёструю феньку, вплетённую в волосы, так просто не спрячешь.

– Андрогин, – не выдержал я.

– Это имя, чё ли, такое?

– Фамилия.

– А-а, – протянула женщина без тени улыбки.

Взяв хлеб под мышку, я попросил Лава спрятать от греха бутылку портвейна в чехол. И теми же лисьими тропами мы благополучно вернулись в подъезд.

Баянный чехол, лежавший на бетонном полу, послужил нам походным столиком, на котором оптикой голодных зрачков были запечатлены: бутылка дешёвого портвейна (с при-

вкусом ранней смерти), объединенная с обеих сторон буханка недопечённого хлеба и выпотрошенная пачка “Примы”. По-переменно мы прикладывались к зелёному стеклу бутылки, закуривая крепкий сироп табачной горечью и закусывая хлебом. Пили на голодный желудок и поэтому довольно скоро захмелели.

– Лав, сыграй что-нибудь старинное, – душевно обратился я к индейцу.

Лав снисходительно улыбнулся на реплику дилетанта. Он заканчивал “музуху”, и поэтому всё “старинное” у него имело своего автора и музыкальный жанр с завораживающими мной слух названиями – чакона, пассакалия, сарабанда.

– Эту, как её, сарабанду сыграй, – с трудом вспомнил я.

– Тебе какую – Генделя али Баха? – неохотно и несколько иронично спросил Лав.

Хотя по его блестящим глазам было видно, что он и сам не прочь помузицировать. Тем более что нас уже нехило колбасило от портвейна.

– Алибаха, – усмехнулся я и зажмурился, предвкушая космическую вязь барочного контрапункта (ну, тогда я таких слов, разумеется, не знал).

Лав аккуратно расчихлил баян, раздул шумные меха, но заиграл не сразу. Он всегда готовился, перед тем как обнаружить стороннему слуху музыкальные звуки, – прядал в воздухе тонкими пальцами, мимически изображал неведомые мне переживания, отмахивал длинные пряди, опутавшие ин-

струмент, за спину. Но вот он блаженно прикрыл глаза и начал играть.

Исписанные нетрезвой рукой стены шевелились от божественных звуков и словно напоминали, что они могли бы быть не просто стенами (хранящими нелепые истории бытовых убийств), а фресками готических соборов или бесстрастным фоном для полотен фламандских мастеров. Подслеповатые окна, утыканные окурками, расцветали храмовыми витражами с библейскими сюжетами, а закопчённая потолочная высь разверзалась небесным сонмом архангелов и херувимов... Конечно, выражать музыку в словах глупо. Но по ощущениям было именно так.

Незаметно приоткрылась дверь соседа нашего панка, и оттуда показалось недоброе лицо в пресловутой кепке-восьмигранке. Одновременно высунулась ещё пара таких же лиц, играющих скулами, и с любопытством смотрела на нас.

– Э-то чё тут за кон-церт? – раздался отчётливый голос соседа с характерной шипящей интонацией змеи перед броском.

Баян словно бы чем-то поперхнулся и умолк.

– Да мы так, – робко ответил я, – Ромку ждём.

– А-а, Ромку, – теплея в голосе, сказал сосед. – Ромка – нормальный пацан, только друзья у него пидоры.

Замечание было не в нашу пользу. Но мы, повидавшие на своём веку и не такие “неловкие ситуации”, сохраняли спокойствие. А Лав даже осмелился закурить, хотя тонкие

пальцы его, держащие сигарету, заметно дрожали.

– Чё за напиток?

– Портвейн.

– Угости сигареткой.

– Пожалуйста.

Чутьё мне подсказывало, что бить нас будут не сразу. Это был один из сценариев, когда жестокому и бессмысленному избиению предшествовал душевный разговор за жизнь: “чем занимаешься”, “где учишься”, “чё за браслеты”, “музыкант или нефор”. В последнем вопросе содержалась существенная для здоровья разница. Нефор – значило клоун, пустой человек. А если удавалось “обосновать”, что ты музыкант, то в холодных серых зрачках мелькал огонёк уважения. И тогда встреча могла обернуться только разговором с пристрастием и пением “группы крови на рукаве”, без срезанных тупым лезвием волос.

– Серый, зацени гармошку.

– Это баян, – скорбно заметил индеец.

– Один хрен. Слышь, нефор. Сбацай чё-нить. “Мурку” знаешь?

– Не знаю.

– Музыкант, а “Мурки” не знаешь, – с укоризной покачал головой сосед. – Сыграй, чё знаешь.

– “Сарабанду” Генделя знаю, – оживился индеец.

– Эт чё за певец? Не слышал.

– Это не певец, а композитор восемнадцатого века.

– Не, мне со словами надо. А то отмудохаяю.

Делать нечего. Лаву надо было играть “Сарабанду” Генделя “со словами”. А то – чуяло моё сердце – и впрямь отмудохают. Я испуганно посмотрел на Лава и с изумлением обнаружил, что в нём нет и тени страха, а заметны лишь известные жесты приготовления к творческому ритуалу: шевеление пальцев, отмахивание до неприличия длинных волос, странная игра лицевых мускулов.

– Я чёт не понял. Ты петть будешь? – наезжал сосед, и в это же время раздался голос индейца, сопровождаемый тяжело-весными аккордами сарабанды:

ба-бы
уха-бы
га-ды
пара-ды
я-ду мне я-ду
туды-сюды с дудой и без дуды...

Пацаны, сплочённые неведомым доселе переживанием, мрачно курили нашу “Приму” и дымили в готические своды подъезда, заполняемые космическими звуками и надтреснутым тенором Лава. Трудно было понять, о чём они могли думать в эти минуты. Только когда музыка утихла, по тем скудным словам, которые оставили пацаны – “благородно”, “как в церкви”, “я такое на похоронах братишки слышал”, – стало ясно, что им в целом понравилось. Экспромт индейца

под звуки величественной сарабанды как нельзя лучше откликался в израненных и обесцвеченных душах этих людей. Может, они почувствовали детство, которого у них не было, или красоту, которую не могли выразить словами...

История осталась в прошлом. Тракторный завод сровнялся с землёй и порос горькой полынью, волосы нам остриг услужливый парикмахер. Зоб женился и открыл магазин компьютерной техники, а в центре Шлакоблочного района появился огромный красно-жёлтый гипермаркет. Жители района вставили новые зубы и научились улыбаться, а я разучился. Я без опаски ходил по тем местам, рыл землю в поисках шлака, принюхивался, вглядывался в лица – на меня смотрели как на юродивого, – покупал портвейн, пробовал, сплёвывал, прикладывался ухом к тщательно выкрашенной стене...

Напрасно – глухо, музыки нигде не было.

Сплин

Обычно меня будит хозяйка. Не тормозит, не говорит: вставай, студент, так всю жизнь проспичь, – просто я чувствую, что она рядом, что её грузное тело в несвежем халате загоразивает худосочный утренний свет, просачивающийся в низкое окно кухни, где я сплю на старом диване. Но главное – запах. Запах беспокойного сна, пота, несбывшихся надежд одинокой пожилой женщины. Сквозь дрему слышу, как она ворошит кочергой в печке, гасит мелкие угли: боится пожара. Шлёпает дверцей холодильника, пуская в комнату запах тухлятины, щёлкает выключателем электрочайника. Чайник начинает шипеть – это музыка утра. Раздаётся нарочито громкий деревянный хлопок двери, ведущей в сенцы: хозяйка вышла в сортир. Тогда я встаю.

Сегодня я проснулся сам. Открыл глаза, увидел тоскливую предутреннюю темноту, тёплую и пыльную. Никто не ходит в халате, не ворошит в печке, не дышит тяжело, сипло, не пахнет лекарствами. “Хорошо”, – подумал я и попытался уснуть. Но уснуть не получалось. За веками затеплились, напряглись сотнями капилляров полные трезвости, покоя и бесконечной скуки глаза. Я открыл их снова и вспомнил, что сегодня воскресенье, выходной, что не нужно идти на учёбу, и стало совсем тоскливо. “Зачем всё, чем бы таким заняться, куда пойти?..” – мерцало в голове. Вдруг я подумал, что

можно как-то изменить грядущий день, сделать что-то иначе, выскочить из накатанной колеи. Например, уйти пораньше, до того как поднимется хозяйка и начнёт свой ежедневный обряд.

Размякшее за ночь тело прислушалось к непривычному для него импульсу живой мысли и зашевелилось. Я надел джинсы, натянул тёплые носки, кофту, наскоро умылся под рукомойником – без света, в январской предутренней тьме. Тянет согреть чаю, привык. Пощупал холодное железо чайника, почесал затылок. Нет, нельзя. Стоит лишь включить чайник – и утро начнётся, минуя рассвет, таков закон. А мне нужно уйти незаметно, втихаря, как никогда прежде. В этом, я чувствовал, есть своего рода таинство. Таинство побега.

На дворе ещё ночь. Траурно-волшебная сибирская ночь. В свете дальнего фонаря роятся снежные пчёлы. Они повсюду. Они больно жалят меня в лицо и в руки. Тело заранее ёжится от избытка остекленевшей тьмы, зовёт обратно, в тепло. Но чем больше жалоб от плоти, тем упрямей становится мысль о необходимости идти вперёд.

Вот и ограда. Пытаюсь выйти. Калитка не поддаётся, занесена по горло жгучим тёмно-лиловым снегом. По-хорошему надо бы взять лопату, расчистить калитку и прокопать дорожки – от домашней двери до сортира и на улицу. Только не сегодня. Как тать, я перелажу через хлипкий дощатый забор, прыгаю в сугроб. Мне кажется, что хозяйка стоит и

смотрит на меня в сумерках комнаты, с той стороны окна. Хуже, если смотрит и улыбается, страшнее...

Иду по улице. Пальцы рук коченеют, совесть безмолвствует. Что дальше?.. Посёлок досматривает последние сны. Над крышами домов чернеют остывшие к утру печные трубы, из которых вот-вот начнёт куриться ароматный древесный дым. Кое-где уже затеплились окна жёлтым уютным светом. Жаворонки проснулись, чтобы почистить снег и накормить собак. Приятно, наверное, работаге после трудовой недели так вот раненько встать, выйти во двор покурить, медленно сознавая, втягивая носом вместе с морозным духом сладость и быстротечность воскресного дня.

Скольжу стёртыми подошвами по льду, ощущая мерзкую влагу подмоченных снегом носков. Обувь самая дешёвая, купленная на старом рынке в прошлом году. Жаль выкидывать как память о первой стипендии, да и на новые – где денег взять? Перехожу улицу. Фонари напряжённо разглядывают съеденный шинами, оголившийся местами асфальт. Кругом никого. Совсем скоро в конце посёлка, за одиноким тополем, появится “кулёк”: в прошлом – культпросветучилище, а ныне – колледж культуры, где уже полтора года я учусь на театральном отделении. Красим декорации, показываем зверей, корчим из себя гениев. Зачем учусь – непонятно. “Ученье – свет, а неученье – культпросвет”, – шутят старожилы. Надо было куда-то поступать после школы, а в армию, мягко говоря, не хотелось. Ну да, а ещё – чтобы оправдать,

так сказать, надежды пьяницы и неудачника, руководителя школьного театрального кружка Петра Евгеньича. Спасибо ему, конечно. Переехал в другой город – большой, “престижный” сравнительно с тем городком, где я вырос. Оторвался хилыми корешками от родительской земли, да здесь что-то не прижился. Может, рано ещё, а может, не судьба.

Ночь отступает. Город обретает привычные геометрические формы. Заметил: как ни старайся, всегда упускаешь тот мистический миг, когда тьма растворяется в воздухе и отсюда же проступает тихий, но всеобъемлющий свет. Словно кто-то невидимый на мгновение помрачает твой ум, чтобы уберечь тайну.

Справа различаю торец бывшего детдома, мрачно зияющего из темноты окнами-глазницами. Здание старое. Чем древнее и мутнее история здания, тем оно притягательнее. Говорят, прежде тут была женская тюрьма, а до тюрьмы – госпиталь, в войну. Теперь рядом с домом аккуратно, штабелями сложены стройматериалы: сайдинг, доски, кирпич. Чудится что-то отвратительно-яркое и полезное: банк или супермаркет... Впрочем, какое мне дело до всего этого?

Останавливаюсь напротив музыкального корпуса. Всего их два. Этот, кирпичный, похожий на казарму, сляпанный когда-то самими студентами. И главный, салатовый, в три этажа, отсюда его не видно. Стою курю. Ноги коченеют под

летними джинсами, тело подрагивает в лёгких конвульсиях – это от худобы. Долго гляжу в коридорную тьму сквозь окно музкорпуса, что-то должен вспомнить и предпринять... Ну да, точно: Колян-трубач. Сегодня ведь его дежурство. Идти мне некуда. Обратно я точно не пойду, кафе до девяти закрыты, надо что-то делать.

Стучу в окно. Оглядываюсь по сторонам. Меня не покидает мания преследования. Внутренне я готов увидеть силуэт хозяйки с лопатой, надвигающийся из молочных сумерек улицы.

Коридор осветился, нервно мигая лампами. Колян, в трусах и тапочках, лениво приближается к окну. Он бесстрашен, он никого и ничего не боится, кроме одного – что у него однажды не встанет. Увидев меня, Колян морщится и делает ленивый жест, чтобы я шёл к двери корпуса. Не решившись идти через главный вход, охраняемый вторым сторожем, лезу через коварный, с острыми пиками, забор.

– Никитос, какого хрена?! – приветствует меня Колян. Его бычий взгляд требует пояснений. Но теперь и во всём мире нет ничего сложнее, чем объяснить Коляну причину моего бегства. Я и сам-то не понимаю – зачем.

Беседуем через приоткрытую железную дверь.

– Такие дела, Колян, замерзаю. – Моё окаменевшее лицо являет подобие улыбки.

– Чё, хозяйка прогнала? – без сочувствия, но с некоторым любопытством спрашивает Колян.

– Не-е, – улыбаюсь, – ночевал тут у чувака одного. Хозяйка с утра пораньше на рынок ушла. А ключи дома оставил.

– С бабами надо ночевать, а не с чуваками, – широко улыбается трубач.

Смеётся он редко и страшно.

– Короче, Никит, – Колян морщит лоб, придумывая убедительную отмазку; улыбка вянет, – я тут не один. Подцепил давеча театралочку вашу. Ну эта, курносая... – Его тонкие губы плотоядно кривятся.

– Да не, я понимаю... Как дежурство-то, воры не лезят? – пытаюсь шутить.

Колян, поняв, что его не побеспокоят, делает “вольно” в тамбуре и тоже шутит:

– Тут, кроме моей “Ямахи”, нефиг брать. А чё на складе, я скоро сам на цветмет отнесу.

Попрощались, обменялись себе на уме взглядами и разошлись. Теперь надо придумывать, куда пойти. А в голове пусто... и на улице – студёно и пусто. Светает. Направляюсь в центр города. Возможно, пока дойду, откроются кафе – в центре их много – и там можно будет погреться, выпить чаю. Есть ещё одна задумка, куда пойти, но пока это табу, туда мне пока нежелательно...

Во дворах встречаются дворники. Лиц не видно, только тёмные спины и неспешные маятники рук. В воздухе – скрежет лопат.

– Бог в помощь, – говорю одному.

Молчит. Скрежещет по льду: скр-рж-ж-жух, скр-рж-ж-жух... Я тоже так скрежетал. Мне говорили: “Бог в помощь”. Я отвечал: “Спасибо”, – и застенчиво улыбался. Мне нравилось работать дворником. Но потом я устал: сессия кипела, снег валил и валил, днём и ночью. Я возненавидел снег. И меня уволили. Год назад. Теперь я люблю снег, и мне приятно наблюдать за дворниками. Они – другие: приходят в тишину улиц, делают добро – и уходят.

После гнетущих панельных кварталов широкий главный проспект, как всегда неожиданно, вырос изумрудными фасадами в классическом стиле, с некоторой претензией на Невский, но скорее в гоголевской, чем в какой-либо иной, трактовке. Я невольно останавливаюсь, вытряхиваю сигарету из пачки, наблюдаю. Ещё горят фонари – мерцающей тропой уходят вниз к замёрзшей реке; ещё мерещатся в складках нездешней архитектуры тени едва ли трезвых демонов и поэтов, скрывшихся в потайные жилища от банальной зари.

Послonyaвшись по безлюдному центру, ничего путного не нашёл, кроме привокзального круглосуточного кафе. Над входом новогодними гирляндами мигает вывеска – “У Ашота”. В снегу бездомная кошка выгрызает из целлофана кусочки шаурмы. Вхожу. Сажусь за грязный пластиковый столик в форме оранжевого круга – почти солнце. От входной двери несёт стужей и выхлопными газами: входят и выходят

похмельные частники с лицами вчерашних эков и подчёркнуто трезвые водители рейсовых автобусов, солидные пузатые мужики, зашедшие выпить кофе. Те и другие посылают взаимные враждебные токи – ухмылочки, взгляды, воздух меж ними наэлектризован. Вообще, я заметил, вокзал – зона повышенного напряжения мужских инстинктов.

Мокрой тряпкой возит по полу женщина в серой фуфайке и повязанном почти на глаза заношенном чёрном платке. Кажется, ей всё равно, что происходит вокруг, даже то, что она в данный момент делает, чавкая тряпкой. С ней не шутят мужчины, не сторонятся, вежливо извиняясь, случайные посетители. Её задевают, проходят по мытому, наступают на тряпку, опрокидывают ведро с водой – ей по-прежнему всё равно. Я жалею её. Потом вижу, как она переоблачается: скидывает фуфайку, разматывает платок, поправляет причёску, кладёт одежду куда-то под стойку, надевает фартучек. Она становится той, к кому я сейчас подойду, чтобы купить горячего чая, отсчитаю мелочь, не поднимая глаз. Нет, я слишком застенчив для этого. Как-нибудь перетерплю, согреюсь.

Погрев руки, одну в другой, достаю мобильник, звоню Смайлу. Прислушиваюсь, надеюсь на лучшее с той стороны. Услужливый женский голос сообщает: абонент временно недоступен... Вот лажа! А хорошо бы теперь к Смайлу, в его тёплую трёхкомнатную квартиру с кофеваркой и аквариумными рыбками. Квартира, конечно, не его, родительская. Смайл – один из немногих здешних моих приятелей; по-

знакомились, кажется, на местном рок-концерте. Вообще-то Смайл – мажор и нытик (хотя сам он называет себя хипстером), я таких не очень люблю. Но как-то так получилось, что мы сладили, стали вместе пропинавать свободное время. У него были деньги, у меня – тяжёлая юность. Я научил его пить водку, приправляя беседу неформальскими байками о злых гопниках. Спел ему пару собственных песен с сибирским надрывом, отчего он ещё больше меня зауважал. Разумеется, водка, сигареты “Парламент”, закуска – за его счёт. Я ему между делом вещал, что вообще-то закуска – не главное, что слушать надо “Гражданскую оборону” и “Аквариум”, чтобы что-то понимать в жизни, а не всякую там “кислоту”, что прикид – это гнилые понты, а главное – что ты такое есть как сущность. Он доверчиво кивал, храбрился, сопел в аккуратную бороду, опрокидывал содержимое стаканчика в рот, поплёскивая брекетами, после чего беспомощно щупал руками воздух. На его месте я бы давно послал меня к чёрту. Но – непостижима суть человеческих отношений. Может, теперь-то он меня и послал, молчанием дав понять, что всему есть предел и что он тоже имеет право на свою тепличную жизнь. Не всем же рвать на себе тельняшку, кто-то ведь должен иметь фирменные штаны и последней модели “яблоко” в кармане. Явиться ни свет ни заря в воскресенье – похарчевать, погреться, поцедить истины – каждый сможет. Неужто прозрел? Да нет, просто отключил телефон. С кем не бывает.

Глядя на желтоватое, болезненное лицо буфетчицы за стойкой, вспоминаю о хозяйке. Вероятно, теперь она уже проснулась. Сидя на кровати, закинула пару горьких таблеток в рот, запила тут же водой из стакана, нашарила тапки, прошла через тёмный зал на кухню, запахивая халат, чтобы я чего-нибудь не разглядел, включила свет, мельком взглянула на диван, остановилась. Вытягивает губы, чтобы оживить мысль; лицо выражает настороженность и удивление. Вот она думает: куда он мог деться? Обнаружив дырявое креслице, не занятое одеждой, направляет свой взгляд на вешалку – куртки нет. Наверное, что-то произносит вслух. Интересно, что именно: “И куда в такую рань подался?” или “В церковь, что ли? Да не долён”. Потом открывает холодильник, видит нетронутую палку колбасы, должно быть, довольно улыбается в эту минуту. Не спеша режет толстыми кругляшками колбасу для рыжего кота, другую часть откладывает на завтрак, прикрыв чистой салфеткой. Шумно и удовлетворённо вздыхает, накидывает пальтецо и... идёт в сортир. Так-так... Дальше интереснее. Входную дверь открывает не сразу. Наваливается всем своим добром и медленно сдвигает хренову кучу нападавшего за ночь снега. Надо заметить, что я и сам-то со своей худобой едва протиснулся наружу. Вот тут-то и кульминация...

Ход мыслей смазало появление новых посетителей за соседним столиком – двое мужчин с крупными бритыми че-

репами в коричневых дублёнках и девушка, похожая на студентку, в лёгком пальто. Буфетчица принесла им кофе и пельмени в одноразовых тарелках. Странно, но я только теперь слышу радио, которое, по всей видимости, играло и прежде. Из фoniaщих динамиков женский приторный голос тянет что-то о неземной любви, загорелом незнакомце и ди-ком пляже. Мужчины тем временем потчуют девушку пель-менями, соревнуясь в скабрeзных комплиментах на плохом русском, что, впрочем, никак не отражается на её бледном лице с нелепо застывшей улыбкой. В какой-то момент де-вушка ловит мой взгляд, и я вижу её глаза – ещё детские, но со сквозящей отрешённостью от всего, как если бы она смотрела в голую январскую степь. Спутанные светлые во-лосы, небрежно стянутые резинкой, едва заметный шрамик над бровью, плохо прикрытый чёлкой, – сиротская беспри-ютность и степная пустота во взгляде рассказывали о ней больше, чем могли бы рассказать её девичьи дневники.

– Чё смотришь, э-э! – обернувшись, звучно рыкнул на меня один из её спутников. От его дублёнки пахло запахом свиной кожи; к горлу подступила тошнота.

Я опустил глаза, потянулся за мобильником. Буфетчица, оставив мытьё посуды, скучно смотрит сквозь нас куда-то в крайний угол помещения, где стоит её швабра. Однако чу-тьём она точно уловила, что продолжения не будет, и верну-лась к работе.

Мужчина ещё долго остывал, грозно поворачивался в мою

уязвимую сторону и что-то гортанно экал своему приятелю, прерывисто и дико смеясь. На девушку я больше не смотрел, уставился в телефон и без конца набирал Смайла.

Выйдя из кафе, я заметил, что уже рассвело. Бугристый свинцово-серый потолок навис над городом. Жгучий ветерок играет мусорной дрянью под ногами. За зданием вокзала трубят “дальние” поезда. От этих звуков сладко щемит сердце, как от музыки Баха. Наверно, имей я в кармане лишнюю пару штук, взял бы билет не задумываясь. Куда? Да неважно куда – в русскую даль. Но тогда бы я сидел в уютном вагоне, пил горячий чай с сахаром (в стакане бы усыпляюще позванивала ложечка) и глядел в окно.

Перед самым носом пролетает жёлтый трамвай. Вот чёрт! Осторожнее бы надо... С оглядкой перехожу дорогу. Мне почему-то всегда казалось, что попасть под трамвай страшнее, чем под любой другой вид транспорта. В том смысле, что если автобус или легковушка тупо сбивают несчастного, то трамвай непременно затягивает под своё паучье нутро – волочёт и медленно, жутко изничтожает.

Надо бы поесть. Холод и голод хорошо рифмуются, но скверно действуют на рассудок. Сворачиваю в университетский сквер, отороченный низкорослыми ржавыми елями. Самое время подсчитать деньги. Когда некуда пойти, когда тело сжимается единой судорогой, чтобы согреться, приятно думать, что в твоём кармане есть несколько мятых бумажек

и горсть мелочи. Счистив снежную шапку рукавом, сажусь на ближайшую лавочку, перебираю бумажки – негусто; мелочь не трогаю, заглядываю в пачку – три сигареты и один пожухлый бычок с прошлого дня. Жить можно. Гляжу по сторонам. Не так уж далеко я забрёл: призрачные гудки со стороны вокзала всё ещё зовут меня...

Через дорогу – магазин “Книжный мир”, выстроенный в духе современной архитектуры, из стекла и железа. Вывеску так и не сняли. Раньше я частенько тут бывал, пока книжный магазин не превратился в торговый центр со всякого рода отделами и общепитом. Брал интересную книжку, садился на мягкий диван у прозрачной стены и нередко зачитывался до закрытия. Милые консультантки в форменных синих юбочках, обычно из студенток, не очень-то меня жаловали. По долгу службы им приходилось говорить скучные вещи: что здесь не библиотека, что если выбрали, то нужно купить... К чему это я? Зачем этот словесный зуд в костяном шаре, прикрытом нелепой шапочкой? Почему мысль идёт на поводу у зрения, когда всем своим существом я нахожусь в привокзальном кафе: отхлёбываю чай, глажу, точно сухую траву, девичьи волосы, наказываю обидчика, слушаю мучительные гудки поездов, зовущие не куда-нибудь – домой, за сотни вёрст, кривыми заснеженными путями... Зачем я сижу здесь один, в центре города, среди незнакомых и чуждых мне людей? Мне холодно, одиноко. Пожалуй, я уже достаточно дол-

го страдаю и мёрзну, чтобы выкушать шкалик дешёвой водки. Небо молчит, совесть по-прежнему безмолвствует. Хм... Вот она – цель! Теперь-то я в силах собраться в живой мускул, в силах хоть немного приглушить январскую пустоту идеей, стать мигающей точкой на экране вселенского навигатора.

Смотрю на ботинки, по щиколотку занесённые снегом.

Незаметный, спрятанный во дворах продуктовый магазинчик с облезлой дверью – артефакт советской эпохи. Его посетители – странные люди с ускользающей идентичностью и пенсионеры, живущие неподалёку в монументальных сталинках. Всегдашняя продавщица тётя Зина – крупная женщина с принципами и чёрным барашком на голове. Когда я прихожу за водкой, она, следуя параноидальному кодексу, первым делом спрашивает у меня паспорт, а уж потом – как дела, учёба и “эх, жизнь, жизнь”. Продвигаясь по знакомому маршруту, я испытываю лёгкую аритмию, как перед театральным показом. И чем ближе к магазину, тем меньше мне хочется свернуть, пройти мимо, и приходится выдумывать что-то новое о несуществующем родственнике, ветеране чеченской войны, заглушающем водкой ноющую душевную боль. Я не раз себя спрашивал: ну на кой тебе эти фантазии, почему именно сюда, мало ли поблизости магазинов? И не находил ответа.

История с ветераном складывается на редкость удачно –

вот уже виднеются угол дома с обледеневшей водосточной трубой, заснеженные фигуры пенсионеров с пакетами и ключами, — осталось лишь добавить в новый рассказ щепоть сантиментов, подытожить концовку безотрадностью моей миссии и невозможностью что-либо изменить. Да, как-то так...

Останавливаюсь. Вижу, что пенсионеры идут, печально похрустывая снежком, — от запустения, от запертой красной двери, схваченной узкой металлической скобой и запечатанной навесным замком. Обломатушки, значит: прикрыли магазинчик. А жаль. Какую историю придумал для тётъ Зины!.. Что ж, придётся идти за водкой в другое место. Там хоть и хреново с человеческим фактором, без душевности, зато выбор богатый.

Иду и думаю, что не прочь бы теперь зайти в гости к своему вымышленному герою. Наверняка он живёт в одном из этих дворов, в какой-нибудь убогой малосемейке: лежит на диване с включённым телевизором, дремлет. Просыпаясь, смотрит вполглаза на экран, плюётся, матерится сквозь зубы, идёт на кухню покурить, ставит на газ чайник, подолгу глядит в окно. Раз в месяц к нему приходит почтальонша с пенсией, разведённая женщина за сорок с усталыми, некогда голубыми глазами. Ветеран, прихрамывая, плетётся к двери. Не глядя, точно рекламные листовки, берёт у неё деньги и вежливо приглашает на чай. Обычно почтальонша отказывает, кивая на тяжёлую рабочую сумку, но иногда остаётся.

Тогда, усадив гостью за стол и налив чая, ветеран начинает рассказывать о своей книге, которую пишет вот уже десять лет, – нет, не о войне, о сибирской природе, о деревне, о детстве. Название книге он уже придумал – “Летние сны”. Когда рассказывает, размашисто жестикулирует, пытаясь подобрать точные по смыслу слова, чтобы выразить суть книги. В эти минуты он счастлив. Женщина с тревогой наблюдает за произвольными махами его жилистых, покрытых шрамами рук, парящих над хрупким фарфором, но слушает внимательно, с интересом. Возможно, со временем они полюбят друг друга и родят хорошенького ребёнка, как знать...

...Молоко, сыр, овощи, парфюмерия, коньяк, угрюмая рожа консультанта, водка. Мне сюда. Беру классический набор: шкалик “Беленькой”, пачку “Максима”, кирпичик бородинского и горчицу. Становлюсь в очередь.

– Пакет считать?

– Угу.

– Посмотрите десять рублей.

– Нету, увы... Искренне сожалею. – Для убедительности имитирую поиск денег в кармане куртки.

Если б не матерный трепет обветренных губ девушки за кассой, впору думать, что таких собирают где-нибудь в Японии, на высокотехнологичном заводе, а затем экспортируют в особых ящиках для нужд мирового потребителя.

Даровое тепло, скопленное в супермаркете, довольно скоро съел беспризорный уличный холод. Жёлтый пакетик с приятной тяжестью путается в ногах. Окутанный морозной серостью город словно бы вымер. В такие дни люди предпочитают сидеть дома, погрузившись в компьютеры, телефоны, “плазмы”, изредка выходя за покупками, изредка выбираясь в гости, в кино. Потому что за окном – никому не нужная пустота, вместо неба – свинцово-серый потолок, и он давит. Мало кто задумывается, что совсем рядом, в трёх – пяти километрах от точки тепла, пресловутого уюта, поют степные ветра, торчат кривые деревца, за которыми не спрятаться, не согреться. И окажись былью то кино, в котором исчезают города и человеческие блага и небеса сорят прахом над мёрзлой землёй, – худшее дело скакать голым под деревьями, вызывать о помощи, размазывать сопли по лицу, сеять проклятья, когда такая тишина вокруг, когда сама красота стелет белые простыни для обманутого мыслящего зверька. Уснуть, самое верное – уснуть в покое и увидеть Бога...

А вот и место моих созерцаний – единственная неохраняемая стройка в этом районе. Выявить это помогла естественная человеческая потребность, когда однажды я искал место для прятков в одного, запасшись креплённым пивом. Место оказалось подходящим.

За бетонным забором сереет кирпичное спиралеобразное строение, напоминающее Вавилонскую башню. Если учесть, что, по слухам, строится финансовое учреждение для помо-

щи физическим лицам, то метафора архитектора выглядит вполне убедительно.

Что меня немного смущает – это возможность застать в убежище бездомных людей. Не говорю “бомжей”, потому что называть обездоленных людей с помощью аббревиатуры скверно. От этого душа гниёт. Правда, есть надежда, что в такой мороз туда вряд ли кто-нибудь сунется. Я не мизантроп, но раз я никому не нужен, даже мажору Смайлу, который до последнего времени зависел от меня больше, чем от своего айфона, то уж лучше остаться одному. Ведь сегодня у меня – хех! – необычный день, аж праздник какой-то.

Лезу в оконный проём “башни”. Внутри будущего офиса валяются пивные бутылки, газеты с характерными пятнами, битый кирпич. Сооружаю сиденье из досок, стелю сверху картон. Вроде замуровался. Достая из пакета хлеб, горчицу в пластиковой упаковке, шкалик. Кладу продукты на относительно чистый картон. Минуту просто сижу, без движений, смотрю в серый квадрат окна: снег идёт, снежок... Тихо так идёт, над тополями.

Делаю первый глоток – сахарный такой, жгучий. Не закусываю, жду, пока водка согреет живот (живот – значит “жизнь”), а от живота согреются руки, ноги, глаза, ногти, волосы на голове, а там и душа. И в этот чудесный момент слышу – музыка. Красивая такая музыка, старинная, и понимаю, что это Иван Севастьяныч, родной. Узнаю – концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. И музыка эта слов-

но бы из меня самого прорастает, из самого живота, и делается так хорошо на сердце, сладко. И тополя, словно ракеты какие, отрываются от земли и летят, летят... А рука, подлая, лезет в карман. Ну кто там ещё? А-а, мажорище, ну, здравствуй.

– Привет, Никита, звонил?

– Я-то? Звонил, ага, – говорю просто, без обиды; в голове ещё звучит музыка.

– Я сегодня на бизнес-тренинге весь день. Телефон в отключке. Мастер тут классный из Москвы приехал. Так что сегодня вряд ли куда...

– Понятно... Ты ж себя музыке хотел посвятить, гитару дорожную купил. На кой тебе эти тренинги? Пошли бухать!

Нет, бухать мне с ним что-то перехотелось. А постебаться над деловым юношей – в самый раз. Я прикладываюсь к бутылке, улыбаюсь, гляжу на картину с зимним пейзажем, кем-то повешенную на стену.

– Ну-у... музыкой много не заработаешь, – по-деловому замямлил Смайл; видно, набрался-таки науки от мастера. – Надо реальные дела делать.

– Какие дела, Федя? Ты на истфаке учишься, высшее образование получаешь, в отличие от меня. Я, может, хочу, чтобы ты моих детей русской истории учил, прививал им любовь к родине...

– Какой ещё родине?

– А такой. Ты Соловьёва, Ключевского, Бердяева для чего

читал? Чтобы экзамен сдать?

– Ясно. Ты пьян.

– Я трезвее, чем все твои друзья-веганы вместе взятые, я в башне сижу. Знаешь, о какой башне речь? Не знаешь. Если не одумаешься – это твоя судьба. Я, можно сказать, в твоём будущем офисе сижу, на досках. Но ты не бойся, тут ребята-гастарбайтеры подшаманят, выгребут, евроремонт сделают, пока ты свой универ кончишь. Бороду сбреешь, будешь сидеть в пиджаке и в галстук. Секретарша с упругой жопой будет тебе кофе приносить на подносе. Будешь её трахать по большим праздникам, если повезёт. А тебе обязательно повезёт. Ты ведь Смайл – улыбон, так сказать, символ современной жизни. А холод... Знаешь, что такое холод?

– Послушай, Никита. Мне некогда выслушивать твой пьяный бред. Сейчас кофе-брейк, а потом ещё семинар до семи вечера. Так что извини. Пока.

Отключился. Вот урод... И что я на него напал? Ведь действительно – человек делом занят, и будущее у него вполне реалистичное прорисовывается, не то что у меня: этакий провинциальный сюр в трёх действиях с предсказуемым финалом. Нет, в актёры я точно не пойду. Уж лучше сторожем где-нибудь отсидеться за пять тысяч, рассказыки пописывать, чаи гонять, подальше от людей, от их самоуверенных физиономий, от всей этой колготни. Я бы, может, и теперь всё бросил и затворился, если бы не обещание родителям доучиться, получить никому не нужные “корочки”. Кто бы

знал, как мучительно всякий раз идти на почту за родительскими деньгами и трогательным письмецом с приветами и рисунками младшей сестры. Да, смешно и грустно – бумажное письмецо в бумажном конверте. Как хочется провалиться в глубокую яму по пути к неизбежному, когда идёшь и возжеленно смакуешь уже мысленно приобретённое, выпитое и съеденное, понимая, что им там самим живётся несладко.

Опустошённый шкалик прозвенел по кирпичным осколкам и замер. Я отломил кусочек от бородинского хлеба, макнул его в горчицу и стал медленно жевать, думая о том, что делать дальше. Полумысли, как слепые мышата, сталкиваются в потёмках сознания, не рождая идеи. Похоже, придётся нарушить табу и воспользоваться запасным вариантом. Но для начала нужно выбраться отсюда. Как-то уж слишком хорошо стало: тело размякло, глаза смыкаются против воли, и в темноте мгновенно проваливаешься в манящее забытьё. Нет-нет, надо сгребаться – и вон из этой дыры. Только бы хватило сил выползти из окна...

Хватило. Иду достаточно твёрдо, но не настолько, чтобы казаться трезвым порядочным гражданином. Я кажусь себе то вольной птицей, парящей над заснеженным городом, то зимним червячком, прячущимся в сугробе от чёрных сапог. Электрик убавил свет. Впору сказать – смеркалось... и ускорить шаг, чтобы поскорей добраться до цели и тем самым уклониться от пугающих приступов, вытекающих из *синдро-*

ма много освобождения. Да, таков мой диагноз. Я уже чувствую, как к горлу подступает горькая словесная отрыжка из ненужных вопросов и желчи. Глаза по-волчьи высматривают жертву. Приступы вопрошания – так можно назвать моё теперешнее состояние. Ещё несколько кварталов, и я буду в безопасности. Господи, только бы не встретиться с теми, кто по образу и подобию Твоему!

Старушка божий одуванчик, зачем ты идёшь в мою сторону, почему не сидишь дома у телевизора, не вяжешь носочки?..

– Простите, можно задать вам вопрос? Только один. Вы верите в любовь?

– Ой-ой! – Старушка поскальзывается, шлёпается об лёд. Я помогаю ей встать, отряхиваю от снега, ласково убеждаю не бояться.

– Я уж и не помню, сыночек, с чем её едят.

Извиняюсь, извиняюсь ещё раз, почти плачу. Уронил бабушку словом, говнюк.

Две молоденькие девушки гуляют под фонарями, звонко хохочут, не подозревают. Притягиваюсь пьянящим блеском их красивых глупеньких глаз.

– Девушки, вы верите в любовь?

Смеются, говорят – верим, снова смеются.

– Поцелуйте же меня... несчастного!

Смеются, говорят – нет, не поцелуем, уходят.

Вот идут два пацана, одинаковых с лица, молчат, мрачно

курят, надвигаются.

– Ребят, извините, вы в любовь верите?

– Пошёл ты...

Всё правильно, иду, близится исцеление. Тут дойти-то – всего ничего.

Из-за угла выплывает тёмное пятно – чернорясый батюшка в полушубке, с кротким взором; идёт тихой поступью, точно по воде.

– Батюшка, вы это... в любовь верите?

– А как же, – охотно отвечает поп сквозь заиндевелую бороду. – Бог есть любовь, молодой человек.

– Значит, и меня, грешного, вы тоже любите?

– Христос всех заставлял любить, даже врагов.

– Тогда обнимите меня покрепче, мне холодно.

Я подхожу к нему. Батюшка брезгливо отталкивает меня ладонями, облачёнными в кожаные перчатки. Падаю в сугроб. Священник проворно уходит, оглядываясь и бормоча нечто непозволительное его сану.

Поднимаюсь, чувствую боль в спине: видимо, упал на кусок льда или что там обычно закапывают в снег. Дурацкий вопрос, дурацкий случай избавления от припадка через мягкие ладони священника. Лучше бы оставил синяк – по крайней мере, это стало бы веской причиной моего появления у... “У” – двадцать первая буква алфавита. Убийца, ушлёпок, упырь, унавозить, убереечь, усовестить, угод, ускорение, увалень... Так, увалень, без четка заявляться не стоит. Чем

будешь оправдываться перед неизбежным, чем будешь заполнять неловкую тишину?

Заныриваю в ближайший магазин. Беру “Беленькую” на последние деньги и шоколадку “Альпен Гольд”.

Дом с аркой. Третий подъезд. Помню, стало быть. Посто-
ять, что ли, покурить по традиции. Курю, кручу головой.
Описывать совершенно нечего. Разве что деревья. Но дере-
вья – они и в Африке деревья, что их описывать.

Приближается неизвестный, открывает плачущую дверь.
Захожу следом в подъезд. Обычный такой подъезд со сту-
пеньками, почтовыми ящиками, на подоконниках цветочки.
Поднимаюсь на третий этаж. Помню. Добротная металличе-
ская дверь. Звоночек рядом. Надо ли звонить в звоночек?
Надо. Куда теперь мне... Звоню в звоночек. Жду.

Открывает. Или мне кажется... Нет, открывает. Смотрит
и видит. Меня. Надо же...

– Привет, – растерянно говорит Марго, бегло осматрива-
ет.

– Привет. Это тебе, – протягиваю шоколад, глупо улыба-
юсь.

Надо ли сказать, что она изменилась. Шёлковый халатик
на стройном ухоженном теле, короткая стрижка с мелиро-
ванием, тату в виде иероглифа на шее. Мало что осталось
от прежней черноволосой дикарки в джинсе и фенечках. В
квартире пахнет восточными благовониями, усыпляюще иг-

рает музыка в стиле “транс”.

– Не стой столбом, проходи. – Провожает в просторную кухню под хай-тек, кивает, куда можно приземлиться.

Она, она – только она так может говорить.

Молчу. Робко озираюсь, чувствую себя идиотом.

– Сколько не виделись – год, два... не помню, – лениво цедит она.

Раньше так не говорила. Зачем теперь говорит?..

– Год и три месяца. У тебя выпить можно?

Стеснительно вынимаю из пакета четок. Предлагаю:

– Выпьешь?

С отвращением смотрит на водку, отмахивается. Молча достаёт миниатюрную рюмку из кухонного шкафа, вытирает салфеткой. У меня двоится в глазах. Образ стройной блондинки перехлёстывает смешливая ведьмочка, певшая когда-то Янку Дягилеву под расстроенную гитару: “А мы пойдём с тобою погуляем по трамвайным рельсам...” Сходили, погуляли. Года два назад она перебралась в этот город, поступила в универ на дизайнера. Теперь ни с кем почти не общается из старых знакомых.

В ванной шумит вода. Зачем она включила воду? Собралась мыться или забыла выключить? Снова думаю не о том.

– Марго, у тебя там вода...

– Знаю. Как ты?

– Я нормально. Учусь на актёра. Расту, так сказать, духовно.

– Вижу, как растёшь. Ветчину будешь?

– Не стоит. Хотя...

Ухаживает за мной. Красивая такая, стройная. Когда она, склонившись над столом, резала ветчину, халатик растворился и обнажил две её беленькие груди. Я их не знаю. Знаю только уши, шею, потрескавшиеся от ветра губы, пропахшие дымом волосы, руки. На чердаке её дома, где мы целовались, были голуби, сумерки и узкое оконце, выходившее на главную городскую площадь.

– Помнишь, мы с тобой...

– Только без ностальгии. Ладно? – оборвала Марго, продолжая орудовать ножом. – Онанировать на прошлое – вредно для здоровья. Поэтому я с нашими и не общаюсь. Кого ни встретить: помнишь то, помнишь это. А в будущее страшно заглянуть? Тогда ведь делать что-то придётся, шевелиться, а не на звёзды пялиться.

– И чем тебе звёзды не угодили... Хорошо, не буду. Воду выключи, платить же...

– Забей.

Я выпил раз, потом второй, третий... Марго сидела, скрестив ноги, на мягком диванчике у окна и копалась в планшете. Музыка действовала на нервы, подташнивало от благовоений, но я молчал, соблюдая обычай гостеприимства. Пованивали мои дырявые носки, спрятавшиеся глубоко под стулом. Происходившее казалось дурным сном, от которого невозможно отмахнуться. Я думал: зачем я здесь, не пора ли уже

сваливать? Смущённо поглядывал на красавицу Марго. Она меня не замечала.

Что-то щёлкнуло в ванной, шум воды умолк, растворилась дверь. Из ванной вышел благоухающий полубог лет двадцати пяти, прикрывая срам большим махровым полотенцем. Он кротко взглянул на меня и тихо удалился в соседнюю комнату. Марго не изменилась в лице, даже не шевельнулась.

– Значит, так теперь любят... – грустно промямлил я.

– Ты о чём? – не отрываясь от планшета, спросила Марго.

– О звёздах...

Марго едко улыбнулась и, отложив в сторону планшет, спросила:

– Ты вопросы пришёл задавать?

– Нет. В гости. Я что-то плохо стал соображать в последнее время.

– В смысле?

Я выпил ещё рюмочку, занюхал, вправил вывихнутый взгляд и твёрдо посмотрел на Марго.

– Вот ты говоришь, что не надо ворошить прошлое, – начал я, – что это от слабости. Ну а зачем тогда всё это с нами происходило? Кто это выдумал?

– Что – это?

– Ну, юность, что ли... Не знаю. Ведь тогда я был по-настоящему счастлив. Скажешь, это было что-то вроде переходного возраста, юношеского бреда? Может, и так. Но этот

бред был чудесен. А теперь ничего не понятно. Все чего-то суетятся, вязнут в кредитах, у всех жутко не хватает времени, денег... Я не хочу так жить.

– Ну-у, затянул балладу. Тебе самому не стрёмно? – Марго вынула тонкую сигарету из розовой пачки, чиркнула зажигалкой.

– Не стрёмно. Можно? – кивнул на пачку “Максима”.

– Кури... спрашиваешь.

Я запалил сигарету и случайно увидел наши смутные отражения в оконном стекле, за которым стояла холодная мгла. Он и она – размытые временем, безликие, чужие.

– Марго, жизнь бесконечно разнообразна. Только с возрастом люди предпочитают многомерности живой жизни плоскость картона. И очень этим довольны. Созерцание уступает место счёту, беспечность – выгоде и порядку. Я не говорю, что все должны лежать на травке и глядеть в облака... – стряхиваю пепел в пустую рюмку. – Хотя в этом нет ничего дурного. Но когда я слышу от сверстников разговоры о выгодной пенсионной сделке с банком, меня реально тошнит. Я ищу урну. Они правильные ребята, они ещё мало думают о профессии – не говорю “деле жизни”, но уже помышляют о грёбаной пенсии. Интересно, а место на кладбище себе кто-нибудь заказывает в двадцать лет? Так сказать, впрок. Не удивлюсь, если такие найдутся...

Марго пускает нитевидные кольца в потолок, округляя клубничные губки, потом, чуть зажмурившись, говорит:

– Красиво излагаешь. Наверное, думаешь много. А думать не надо, надо жить. Вот ты что собираешься делать после своего колледжа? Только не говори, что в актёры пойдёшь. Из тебя актёр – как из меня домохозяйка.

– В актёры я и не собираюсь. Так, занесла нелёгкая... Да мало ли интересных занятий. Может, писателем стану.

– И много ты написал, писатель? – улыбочиво жмурится Марго.

– Пока ничего. Для начала нужно пощупать воздух, понаблюдать.

– И что, есть открытия?

– Ну... есть кое-что. На рассказик наберётся.

– Как напишешь, скинешь на почту? – не то серьёзно, не то в шутку спросила Марго.

– А как же, тебе – первой, – так же двусмысленно ответил я.

На кухне образовался полубог с глянцевой полуулыбкой, уже одетый и причёсанный на хипстерский манер. Он мягко, по-кошачьи приблизился к Марго, чмокнул её в щёку, шепнул на ухо:

– Всё было супер, солнце.

Солнце что-то мурлыкнуло в ответ, засияло и отправилось провожать гостя.

Теперь надо уходить. Шкалик пуст. В душе тоже пусто и сумрачно, как за окном. Уж слишком всё походит на дешёвый спектакль с плохими актёрами.

Когда я выходил из кухни, мы едва не столкнулись с ней лбами в потёмках коридора. Мне показалось, будто на мгновение она стала прежней Марго, вскрикнув:

– Ёлы-палы, Га-Ноцри! Чуть не шваркнулись! – и засмеялась – легко, звонко, как прежде.

Га-Ноцри – так она меня называла в чердачные времена. Видно, растерялась, не успела сообразить, что теперь мы другие, и смущённая память, точно пыжом, выстрелила ветхим запылённым именем.

– Марго, спасибо тебе. Пойду я...

– Ещё придёшь? – странно спросила она, когда мы стояли на пороге.

– Не знаю... Как получится... Возможно... – сбивчиво отвечал я, шагая вниз по ступеням.

Оказавшись на первом этаже, я услышал последнее:

– Рассказ не забудь скинуть, писатель!

Я не ответил. Где-то наверху лязгнул дверной засов, а дерзкое эхо её слов поглотили стены.

Обратно идти было легко. Колкий морозец вытравил хмельную муть из души. Вечерние сумерки были иные – суетливые и гулкие. В них словно бы кто-то торопился совершить несовершенное, доделать то, что замыслил с утра, но не доделал, промотался зря. Стоит ли терзаться из-за этого, ведь завтра наступит точно такой же день. И так дальше...

Я подошёл к калитке – в кухонном окне горел свет, на сне-

гу темнели глубокие хозяйкины следы, дорожки были не чищены. Я потопал ботинками о порог, чтобы отбить снег, зашёл в тёмные сенцы, затем – в тёплую освещённую кухню. Страх быть изгнанным за пьянство и безответственность – не было. Я задумал начать новую жизнь без страха и прошлого. Будь что будет.

Из зала вышла хозяйка. Кухня мгновенно заполнилась неприятным запахом валерианы. Лицо её было заплаканным и от этого казалось добрым.

– Рыжик помер, – всхлипнула хозяйка и, обмякнув, присела на диван.

Я мельком осмотрел комнату, ожидая увидеть на полу мёртвого кота. Но увидел лишь его оранжевый коврик у печи и пустую вылизанную миску. Я печально вздохнул, как нас учил мастер, и повесил куртку на крючок.

– Похоронила на огороде. Весь день землю колупала, – тяжело вздыхала хозяйка.

– Жалко, тётъ Маш. Хороший был кот, – искренне сказал я. – Наверно, пойду, снежок почищу...

– Поешь сперва. Я там щи в холодильнике оставила. После почищишь.

Ближе к ночи мы сидели с ней в зале у телевизора и пили чай. Она рассказывала мне о своей жизни, о пропавшем без вести муже, хорошем столяре в прошлом, которого так и не нашли. О том, что бездетна, потому что в юности её сглазила цыганка, что когда-то работала библиотекарем в школе, а в

детстве играла на флейте. Я внимательно слушал её рассказ, пил чай и взрослел...

Волшебство приходит

1

К матери в родной город Виктор приезжал из сыновнего долга – неохотно и редко. Воспоминания детства выцвели в его памяти отцовой рубашой, пестревшей когда-то на семейных застольях, свадьбах и похоронах. Вылиняв, она разошлась на тряпки, а тряпки истлели в пыль. Об отце Виктор старался не вспоминать, чтобы однажды не узнать в нём себя. Отец, бывало, приходил к нему во сне – хмельной, добрый, с подарками. Садился за кухонный стол, закуривал, улыбался и заискивающим шепотком спрашивал: “Ну что, хомяк, колись, куда мать деньги спрятала?” Витя встречал отца с радостью, доверчиво беседовал с ним, рассказывал об успехах в школе... А проснувшись, из всего помнил лишь пёструю, прожжённую сигаретным пеплом рубашку да стыдливую улыбочку на скуластом лице.

Другой – большой город, в котором Виктор отучился на юриста, нашёл работу, купил двухкомнатную квартиру в новостройке, пусть и в кредит, завёл нужные знакомства, так и не стал родным. Но, имея надёжный социальный статус, там он чувствовал себя в безопасности. Вставать каждое утро по будильнику, принимать душ, бриться, ехать на личном авто-

мобиле в офис, работать с клиентами, обедать в кафе, возвращаться в квартиру, готовить вкусную еду, смотреть фильмы, спать с проверенной девушкой – всё это стало необходимостью. Лишь в мерной чередё событий – смене дня и ночи, работы и отдыха, водки и чая – Виктор находил для себя душевный покой. Кем-то и когда-то запущенная карусель жизни, в которой он оказался пассажиром, не вызывала вопросов. Жизнь не казалась ему подарком, но данностью, от которой можно получить немало удовольствий, если найти верный способ существования. Способ был простой – плыть по течению. Выпадение же из привычного графика, подобно остановке поезда в горном тоннеле, приводило его в паническое состояние. И когда чуждая среда, как теперь, порождала в сознании мысленных пчёл, больно жаливших вопросами – кто ты? зачем ты живёшь? – Виктор напивался в ближайшем кабаке, находил причину для отъезда, сухо прощался с матерью и возвращался.

Почему-то ненужные вопросы возникали именно здесь, в городе детства. Лишь только он касался подошвой вокзальной платформы, начиналась душевная аномалия, нарастала тревога. Сам ли город своим медленным умиранием, своими пыльными тополиными улочками внушал ему вечную грусть, или причина коренилась в прошлом, он не знал.

В юности будущий юрист не искал комфорта. Он с дерзостью испытывал жизнь, терпеливо принимая от неё первые удары: уход отца из семьи, предательство сверстников,

изгойство. Виктор удивлялся всё более обнажающейся бездне мира – то пугающе отталкивающей, то завораживающей своей глубиной. Достаточно было выйти в апрельскую ночь, вдохнуть запах талого льда, объять взглядом черноту крыш и звёздную сыпь в небе, чтобы почувствовать себя счастливым. Он сочинял стихи, играл с друзьями панк-рок, исповедовался дневнику, стараясь не упустить и малой части того волшебства, из которого складывались его дни. Впрочем, волшебство длилось недолго. Тогда же, в юности, Виктор написал стихотворение, которое вряд ли помнил теперь, оно заканчивалось так:

...Волшебство приходит.

Ему наливают штрафную и просят петь.

Оно просит ещё,

Но его уже никто не слышит.

Эти стихи пользовались успехом в кругу его друзей – таких же дерзких, длинноволосых, ищущих. Они распахивали окна в коммуналке, курили в осеннюю мглу, где город ещё мерцал для них тайной, а будущее складывалось из того, найдутся ли завтра деньги на выпивку и удастся ли сберечь кости и волосы по дороге домой.

Теперь ему смешно было думать об этом, ведь жизнь оказалась куда как проще и в силу своей простоты страшнее. Нужно лишь найти уютную конуру, заполнить её полезными вещами, научиться зарабатывать деньги, не высовываться из

толпы, не обращать внимания на то, что тебе неприятно, и жизнь пойдёт как по маслу. Важно ещё – не встречать старых друзей, чтобы не нарушить зону комфорта. Такие встречи происходили, как правило, случайно и только на малой родине. Бывшие приятели сталкивались где-нибудь в кафе или на улице, завязывался натянутый разговор, из которого следовало, что Виктор предал идеалы молодости, забыл старых друзей, стал офисной тлём и прочее. Сам же приятель свято чтит прошлое, сохраняя его приметы и внешне – дырявые джинсы, кеды, редющие, но всё ещё длинные волосы; и внутренне – вымучивая по ночам тревожные мелодии и плохие стихи. То, что он жил с родителями на их же пенсию, не имел ни постоянной работы, ни семьи, приятеля мало волновало. И совсем не интересовало – будущее. Простившись и отплевавшись после недолгой беседы, каждый из друзей видел в другом полного неудачника, имея при этом немало аргументов в свою пользу.

Виктор гнал от себя воспоминания, но это было непросто сделать, находясь в комнате, где каждая вещь воспринималась сквозь призму прошлого: грустные обои в цветочек, школьный стол (за которым втайне от матери рождались первые стихи), плешивый кактус на подоконнике, окно с видом на гаражи... Невыветриваемый запах детства. Виктору хотелось спрятаться от навязчивых мыслей, от июльской духоты, от крадущегося шороха материнских тапочек по коридору... Но куда?

Он захлопнул ноутбук, сгрёб со стола ключи, зажигалку, бумажник и незаметно вышел из дома.

Пустынные улицы мерцали золотистой пылью, скрипевшей на зубах; асфальт трескался от жары. Город казался чужим. Виктор добрёл до ближайшей остановки, сел в троллейбус и, рассчитавшись с кондуктором, стал тупо смотреть в окно. Троллейбус успокаивал его медленным ходом и приятным, усыпляющим гудением ночного жука. Хилый ветерок тщетно гонял духоту по салону, надувал с улицы тополиное семя, мнимой метелью разлетавшееся в движущемся пространстве. Пребывая в тоскливой дрёме, закрыв глаза, Виктор угадывал по зримому чёрно-белому негативу памяти остановки, суровые сталинки, граффити на стенах, загложившие парки и потом, щурясь от солнца, удивлялся тому, что с детства знакомые места нисколько не изменились, точно застыли во времени. Лишь немного из облика города говорило о настоящем – пестревшая в серости реклама, супермаркеты, глянцевые иномарки. И будь у него возможность исчезнуть в эту же самую минуту, оказаться за сотни километров отсюда, в другом городе, – он бы не задумываясь исчез.

Город млел в удушливой пустоте. Затемнив окна, люди прятались от жары в сумерки тесных квартир, пропахших кухонной гарью. Старухи, обмахиваясь газетами, выходили на балконы, чтобы, посмотрев в белёсое небо того же цвета зрачками, подумать вслух, будет ли дождь... Но небо, похожее на пыльную скатерть, было безоблачно, сухо. Старухи

звали детей, игравших во дворе, спрятаться с ними от солнца, заманивали едой, грозили дряблыми кулаками, но дети были глухи в своей беспечности. Их гибкие тела, словно растения, тянулись к свету, а чуткие души поглощали смутную полноту мира. Виктор подумал, что, вероятно, кто-то одинокий и мудрый от вечной скуки решил позабавить себя веществом природы и создал человека...

Дважды объехав город, не меняя позы, то закрывая, то открывая глаза, привлекая тем самым внимание кондуктора, Виктор сошёл в центре, на главной площади, тем более что его начало подташнивать от предсказуемого пейзажа и медленной езды.

Ноги сами несли его по тенистому тротуару из привычки ходить. Цели не было. Взгляд лениво блуждал по безлюдной площади, окружённой зданиями сталинской архитектуры с арками и выкрошенной мозаикой на стенах, изображавшей не то серп, не то молот. Подростки, сидя на скамье возле фонтана, от скуки и избытка сил кричали необдуманные слова в воздух и высмеивали всё, что попадалось им на глаза. Когда Виктор в деловом летнем костюме проходил мимо них, обтирая лицо и шею белым платком, кто-то из подростков бросил ему вслед: “Тело идёт!” После чего раздался взрыв свежего хохота, как если бы фонтан вдруг очухался и выстрелил холодными брызгами в оцепеневшую высь. Но, в сущности, подростки были правы, и, быть может, Виктор не стал бы с ними спорить – то, что когда-то было живым чело-

веком, стало телом, и оно действительно шло.

Застыв на перекрёстке, отрешённо наблюдая за миганием светофора, Виктор вдруг увидел, что ему кто-то машет с той стороны улицы, и, разглядев махавшего, понял, что оказался в ловушке. Сделать вид, что не заметил, и скрыться в ближайшие дворы было бы проще всего. Но как нарочно перед ним остановился вежливый старичок на “Москвиче” и ждал, пропуская пешехода. Виктор переменился в лице, натянул улыбку, кивнул старичку, выпрямил спину и пошёл навстречу старому другу.

2

Они сидели в ресторане “Мечта” неподалёку от главной площади и молча, подыскивая слова, ожидали заказ: два бокала “Балтики-семёрки”.

Артём по прозвищу Хайр был человек застенчивый, тихий, не склонный к ностальгическим бредням на тему, как хорошо было тогда и как хреново теперь. Он был рад встретить друга юности, пожать ему руку, чтобы кожей ощутить подлинность не его существования, но своего. Чтобы осознать: “То, что было когда-то мной, я вновь вижу в серых зрачках друга, в шраме на мочке левого уха от сорванной серьги, в его неизменной привычке свинговать пальцами по столу...” Когда жизнь шла под знаменем рок-н-ролла и Артём, попав в западню, вынужден был отвечать на философ-

ский вопрос: “Кто ты по жизни?”, он спокойно говорил – созерцатель, чем приводил в ступор даже матёрых уличных софистов. Может, поэтому били его значительно реже других, несмотря на дерзкий прикид. А если и били, то как-то отстранённо, мечтательно, без азарта и давали на дорожку закурить.

– Музыка тут говённая, – заметил Виктор, глядя в сторону зеркального бара, где одинокая блондинка, сидя за стойкой, скучающе цедила коктейль.

– Не “ГрОб”.

– Да уж, не “ГрОб”, – согласился Виктор. И, попав на одну волну, друзья вдруг весело рассмеялись.

Принесли холодное пиво. Виктор попросил официанта сделать музыку тише и, когда тот удалился, шутливо сказал Артёму:

– Забавно, забавно... Хайр – и вдруг лысый.

– Лето, я теперь каждый месяц голову брею, – Артём невольно провёл ладонью по голому черепу, где прежде красовался густой рыжий хвост, и добавил: – А ты, гляжу, располнел... и в очках.

– Есть такое... – застенчиво улыбнулся Виктор. – Слушай, ты как насчёт водки? Возьмём?

– Можно. Только у меня это... финансы...

– Забей. Не вопрос.

Виктор поискал взглядом официанта – на этот раз подошла улыбчивая девушка в цветных тату – и, прихотли-

во вода указательным пальцем по меню, сделал заказ. Он был привычен к ресторанной жизни, где днём проходили деловые встречи с клиентами, а по вечерам – знакомства со скучающими женщинами. Артём же чувствовал себя неуютно в людных местах, особенно если приходилось играть какую-либо социальную роль. Теперешняя мизансцена обязывала играть роль друга-нищеврода, испытывающего неловкость и в то же время радость от встречи с успешным, хорошо одетым приятелем. Понимая это, Артём внутренне удивлялся предсказуемости жизненных сцен, стараясь быть как можно естественнее в общении с другом. Но в “старании быть” – он видел – неуклонно, против воли проступала игра.

– Чем вообще занимаешься? – поинтересовался Виктор, ещё при встрече заметивший разбитые туфли и застиранную футболку Хайра.

– Я кукольник, – привычно защищаясь улыбкой, ответил Артём.

– Это как?

– Ну, кукол делаю для театра. Иногда кукловодов замещаю, если роли несложные. Веточек там разных, зверушек.

– Серьёзно?! – удивился Виктор. – Это тот кукольный театр под виадуком, в виде терема?

– Он самый.

Виктор умело разлил водку из пузатого графина. Друзья звякнули рюмками и выпили за встречу.

– Забавно, забавно... – разомлев от спиртного, душевно

говорил Виктор. – Я ведь был в этом театре в детстве, с мамой ходил. Крошечный зал с деревянными креслами, чёрная ширма. Картонные избушки с запахом дешёвой краски... Я ещё понять не мог, откуда гром берётся и вспышка, когда Яга в царевну превращается. Думал, по-настоящему всё...

– Так и есть, – морщась и занюхивая хлебом, кивнул Артём.

Наступила минута того русского благодушия, когда неудержимо хочется спасти мир от зла или задушить друга в объятьях. И если бы не преграда в виде широкого стола, разделявшая чужих, в сущности, людей, сведённых случайностью, то Виктор бы так и сделал – обнял друга.

– На самом деле всё просто: вспышка магния и удар палкой по стальному листу, – раскрыл тайну кукольник.

– Это ты зря, – огорчился юрист. – Вменяю тебе психическую травму детства, нанесённую в зрелом возрасте.

Посмеиваясь, они выпили ещё по одной.

– Знаешь, а я чуть было следаком не стал, – начал Виктор, жуя. – То есть стал на какое-то время. Мне даже корочки выдали. Полазил с месяц по городским трущобам, посмотрелся достоевщины всякой: дети убивают родителей, родители – детей. То квартиру не поделили, то кредиты не погасили, а чаще всего – по пьяни. И уволился. Так спокойнее. Работаю тихо-мирно в адвокатской конторе, на жизнь хватает...

– Не коллектором?

– В смысле? А-а... Нет, это другое ведомство. Долги, что

ли, какие есть?

– Алименты.

Виктор не сразу нашёлся, что на это ответить. Он считал, что Артём, как и многие из его прежних друзей, живёт с родителями, работает где придётся, без прицела на карьерный рост. Теперь вот выяснилось, что Хайр – кукольник. Нет, творчество, конечно, дело хорошее. Он и сам когда-то пописывал стишки и рисовал чёрной краской на стенах. Но разве этим проживёшь? Тем более если семья. Приходилось по-новому смотреть на человека, как бы друга, успешного жениться и развестись, который в его памяти всё ещё тряс огненным хайром со сцены и посылал недовольных “дорогой на”.

– Когда успел? – растерянно спросил Виктор.

– Долгая история...

– Удивляешь, дружище. Давно в разводе?

– Второй год... Да обычные дела, ничего удивительного. Давай хряпнем, – странно оживился Артём.

Закусив ломтиком колбасы, Виктор снова посмотрел в сторону бара, но блондинки за стойкой уже не было. Бармен услужливо разливал коньяк; два солидных мужика в патристичных футболках, вертясь в креслах, громко обсуждали футбольный матч. “Значит, не дождалась, – подумал Виктор. – Возьмёт дешёвого вина, придёт в пустую квартиру, снимет с себя одежду и станет мечтать...”

– Ты когда уехал, я ведь тоже решил из города свалить, –

торопливо, изредка взглядывая на приятеля, заговорил Артём. – Тусовка к тому времени разбрелась. Кто женился, кто спился, большинство разъехалось по стране. В принципе, понятно: ловить в этом городе нечего, кроме мух.

Виктор понимающе улыбнулся.

– Знакомые позвали меня в Питер. Ну, я и поехал. Романтика, чё. Силы ещё были, амбиции. Думал, художником крутым стану, выставляться буду. Короче, послонялся я год по впискам – без работы, без денег. Набродился по ночным клубам, по музеям, по старинным питерским улочкам – надоело. Чувствую: чужой я здесь. Вернулся обратно. Появился некий ритм жизни. Смысла не было, но ритм появился: поспал, поел, вышел на балкон покурить, с балкона – в комнату. Так и жил. Родители стали намекать: поступай учиться, сынок, хватит маяться, без образования ты никто. А куда поступать? В шарагу идти не хотелось, а для вуза – время ушло, да и желания особого не было учиться. Пошёл рабочим на стройку. На Черёмушках, на месте старого котлована, церковь строили – туда и пошёл. А там прораб – бывший сиделец, рабочие – те тоже ребята на понтах. Короче, общего языка с ними я не нашёл. Они ведь ранимые очень. Если молчишь, не поддакиваешь им, не бухаешь, значит, не уважаешь. Пришлось уйти. Мать, конечно, в слёзы. Отец ходит строгий, пузо почёсывает, не разговаривает. Я из комнаты почти и не выходил. На полке книги стояли, ещё со школы, стал читать. Прочитал “Превращение” Кафки, подумал: как

точно написано, прямо про меня. Мне даже напрягаться не надо было, чтобы чувствовать себя насекомым. А тут вдруг Серёга-Дзэн позвонил. Ты его должен помнить, он тебе ещё гриф на басуке отломал?..

– Помню. Больной на голову, – ухмыльнулся Виктор.

– Ну вот, он тогда в театре кукол электриком работал. Остепенился, комнату с какой-то девушкой снимал. Говорит, ты же вроде рисуешь неплохо и браслеты из кожи мастеришь, нам кукольник нужен. Я сперва отказывался, привык дома сидеть. А потом думаю: всё равно работать где-то надо, а тут хоть человек знакомый. Пошёл устраиваться. Мать обрадовалась, отец заначку достал – наливает. Вроде бы наладилось всё. Зимой дело было. Встанешь утром, чаю выпьешь, покуришь в форточку с выражением значительности на лице – и на работу. Выходишь в сумерки, тихо, в соседнем доме окна желтеют, снег под ногами хрустит. Редко когда на троллейбус садился, пешком шёл через весь город... В театре сначала лица куклам обновлял как подмастерье. Втянулся, интересно стало. Полазил по сайтам, почитал нужную информацию, начал сам кукол делать. Вроде берёшь тряпку, пуговицы ненужные, волосы; клеишь, наносишь краску на папье-маше, а из всего этого хлама рождается почти человек. Я всегда даю своим куклам имена, помечаю тонкой кистью на теле – ещё до спектакля. Спектакль – как таинство рождения. Ох, Витя, не передать, что чувствуешь, когда твоя кукла оживает... Обретает дар речи, характер; плачет,

смеётся, проходит испытания, нередко гибнет. Даже немного ревнуешь, видя, как твоё детище кривляется на чьей-то потной руке. А ведь странно, да?..

Виктор, подперев голову кулаком, внимательно слушал пьяную исповедь по природе молчаливого и застенчивого друга. Со стороны это выглядело так, будто врач-психиатр терпеливо выслушивает бред пациента, убеждённого в своём здоровье.

– А потом её встретил, Катю. Она после новогоднего спектакля с сыном ко мне подошла, попросила кукол ему показать. Пацан лет шести – белобрысый, застенчивый, за мамкой прячется. Сама она уже не юная была, с такой, знаешь, увядающей красотой. Лицо без косметики, смоляная коса с проседью, серое платье: не то ведьма, не то монахиня. Она мне сразу тогда понравилась, напомнила гоголевскую панночку в возрасте, хе-хе... Ну, показал пацану кукол, объяснил, как ими управлять, какие у них роли. Наверно, детям не стоит показывать изнаночную сторону сказки, да ведь она сама попросила... Как-то мы тогда хорошо, душевно пообщались, будто старые знакомые. Я даже подумал, что неплохо, пожалуй, иметь собственную семью, заботиться о ком-то, растить цветочки на подоконнике. М-да... Обменялись мы с Катей телефонами, знаешь, без напряжения, само как-то вышло. Такое со мной редко бывает, чтобы запросто познакомиться с посторонним человеком, особенно с женщиной. Короче, стали мы с Катей встречаться. Сперва встречались на ней-

тральной территории – много гуляли по городу, заходили погреться в недорогие кафе. Потом она стала приглашать к себе – “на чай”, ну, понимаешь... С Сашей, сыном её, подружился. Учил его кукол из тряпок шить, деревья гуашью рисовать. Он ко мне привязался. Бывало, в воскресенье утром придёшь к ним и не заметишь, как время прошло, смотришь – темно за окном. Как-то я тоже её в гости пригласил, хотел с родителями познакомить. Катя долго не соглашалась, отнекивалась, еле уговорил. Пришли ко мне, сидим чинно на кухне, чай пьём с родителями, беседуем: “Снегу-то навалило”. – “Весна скоро, растает”. – “Сыночка, стало быть, одна воспитываете?” – “Одна”. – “Чаю подлить?” И всё в таком духе. Короче, натянутый получился разговор. Катю, значит, проводил, вечером домой вернулся, сел ужинать. Мать с посудой возится, вздыхает. Потом как бы между делом говорит: “Тёма, сынок, а не старая она для тебя? Да и ребёнок у неё”. Я ей тогда не то со зла, не то со скрытым намерением ответил: “Привыкай, мам. Женюсь скоро”. И женился.

– Забавно, забавно... – пробормотал Виктор с ничего не выражающим лицом и неверной рукой разлил оставшуюся водку.

Они выпили не чокаясь.

– Свадьба больше походила на похороны. Тут особо нечего рассказывать, запомнилось другое. После застолья мы долго шли по мутным сугробистым дворам – я, она и сын. Дул колючий мусорный ветерок. На пути встречались урод-

ливые снеговики с бутылками в паху. Мы смеялись над этим. Саша отводил глаза. Из-под её пальто торчало свадебное платье и цеплялось за сухую траву, когда переходили пустырь. Она шла неровной походкой невесты, словно на каблуках, хотя её туфли я нёс в пакете с остатками еды. Когда зашли в подъезд, долго не могли открыть входную дверь: роняли ключи, смеялись, выясняли, кто из нас пьянее. Потом она уложила Сашу спать, мы остались на кухне. Достали закуску, вино. Катя зажгла свечи. Ну, чтоб как в кино. Мне захотелось её поцеловать, у неё началась истерика. Так, на пустом месте. Она сказала, что её не любят мои родители, что она старая для меня и что я тоже её не люблю. Короче, бред полный. А когда успокоилась, выпила немного вина, задала мне такой вопрос... Нет, сначала пристально на меня поглядела, как прожгла, а потом сказала, неприятно растягивая слова: “А-артём, а-а... ты не думал ра-боту поменять? У нас ведь теперь се-емя”. А мне нравится то, чем я занимаюсь, ну... нравится очень, понимаешь? И всё пошло к чёрту... Она не работала, могла весь день просидеть у телевизора, глядя дурацкие шоу. Готовила отвратительно. Вечно вылавливал из супа её крашенные волосы. По вечерам, когда приходил с работы, она стала вспоминать о своём первом муже-военном. Сравнивала меня с ним, говорила: он хоть и сволочь, но мужик, а ты – баба. Такие дела. Мечтала открыть ателье – шила, кстати, неплохо, – хотела взять кредит в банке, но бог милывал, с дивана она так и не слезла. Теперь конец, – виновато

улыбнулся Артём. – Дальше не так интересно...

Виктор тяжело смотрел сквозь прозрачное стекло графина, вбирая теперь его пустоту. Когда Артём закончил, он шумно вздохнул, выбил пальцами барабанную дробь и с некоторым раздражением сказал:

– Стервой твоя панночка оказалась.

Чуткий официант, оценив важность разговора и убрав папку со счётом за спину, прошёл мимо.

– По-моему, она нездорова. Сашку жалко, – слабо возразил Артём.

– Видишься с ним?

– Нет... запретила. Говорит, сперва алименты выплати, потом подумаю. Знаешь... – Артём длинно посмотрел в открытое окно, в смазанную сумерками листву. – Мне её тоже жалко.

– Щас расплачусь, – поморщился Виктор, нащупывая бумажник. – Слушай, пойдём отсюда, а?

3

Вечер освежил их лица прохладой. Пьяно мерцали уличные огни, приглушённые густой зеленью клёнов. Синие троллейбусы с табличками “в парк” неспешно увозили дачников в казённый покой. Друзья шагали по тротуару в недосягаемое тёмное пятно впереди. Твёрдые углы зданий смешались в танце теней. Проснулись гулкие отзвуки дворов –

дребезг стекла, смех, крики, – вызывающие сладкую тревогу: если не убьют, то наверняка превратят беспечную походку в ветер. Границы города растворились. Стена вряд ли будет стеной, если подойдёшь ближе, коснёшься – рука уйдёт в пустоту. Дерево едва ли окажется деревом, если проведёшь ладонью – смахнёшь смертную тень с чужого лица. И звёзды горят над остывающими крышами, над невидимой стрекочущей степью, что за пятью домами, так ярко, голо, бесстыже...

– Здесь я оставил два зуба и хайр, когда с репетиции шёл, – Артём жестом музейного гида показал на скамью под навесом автобусной остановки. – Срезали тупым ножом. Через год новый вырос, как у ящерицы.

– Жёстко, жёстко... Мне кто-то рассказывал из наших. Теперь уже хрен такой вырастет, – Виктор погладил голый затылок друга.

Они двинулись дальше, мигая сигаретными огоньками.

– Я того главного, который со мной беседовал – “я тебя бить не буду, они будут”, – на рынке недавно встретил, – весело говорил Артём. – Жалкий такой мужичок с тележкой. Мёдом торгует. Он с дочкой, видимо, шёл. Дочь в зелёнке вся, прильнула к нему, плачет...

– Что – тоже жалко? – Виктор сплюнул в кусты.

– Да нет. Странно всё это. Тогда он на меня смертью дышал, а теперь с тележкой... Я его портрет по памяти нарисовал.

– И как назвал – “Стокгольмский синдром”?

Артём промолчал, выстрелив искрящимся окурком в темень.

Площадь и главный проспект остались позади. Волны дождя всё реже касались слуха, темнее и уже становились тропы, по которым они шли. Квартал за кварталом, вдох за выдохом – слепые фонари, песочницы-мухоморы, погосты мусорных куч, – шесть сигарет в согласном мужском молчании. Горький запах полыни – всюду.

Обойдя переулком цыганские избы, заросшие коноплём, они почувствовали под собой пустоту и остановились. Пахнуло речной сыростью. Не сговариваясь, друзья спустились по крутому берегу к реке, присели на корточки, опустив руки в прохладную муть. С другого берега чёрной глушью смотрела забoka, свисая пахучими ивовыми прядями к лунной воде. Чувствовать спиной цыганские дворы было менее страшно, нежели оказаться на том берегу, где цветёт папоротник и кто-то невидимый шарит в душной траве.

– Дед мне рассказывал, – негромко заговорил Виктор, – когда весной кладбище деревенское размывало, гробы плыли по реке. Целая вереница гробов. Они пацанами с берега смотрели. Теперь ни деревни, ни кладбища того, наверно, в помине нет...

Он достал из кармана пачку “Честера”, протянул Артёму. На мгновение бледно осветились их лица, потом погасли.

– Они и теперь плывут, – крепко затянулся Артём, выды-

хая дымом: – Ваня-Пионер, Серёга-Чух, Вася-Бильбо, Аня-Лиса...

Речная вода впитывала человеческие имена, как мусор, как степную пыль, как отражения природы (насекомых, ночные звёзды), медленно и равнодушно унося по извилистому пути. И казалось, что два друга – лишь капли этой реки, случайно выползшие на берег, увидевшие свет, уставшие от света, присевшие покурить, шевеля по-рыбы губами: “Жаль, хорошие были ребята”, – подразумевая: “Я тоже когда-нибудь умру”.

– Монтана хоть живой? – покашливая, спросил Виктор.

– Живой. Что ему будет. Проспиртован напрочь.

– Может, зайдём?

– А надо ли...

Они встали, задумчиво помочились в воду, глядя на звёзды, и пошли дальше. Монтана жил на набережной в коммуналке, доставшейся от покойных родителей. Идти было недалеко.

Алкоголь сбивает прицел, память уводит в тёмные закоулки прошлого от верной цели: вежливо распрощаться, добраться до квартиры и лечь спать. “Возможно, Хайр прав. Так ли нужно видеть престарелого панка с его причудами?” – думал Виктор. Но тут же обрушивалась небесная ширма, сыпались звёзды, накатывала благодать, и хотелось разорвать действительность, как тесный мешок, выпорхнуть в дыру птицей – на волю!

“А был ли я когда-нибудь свободен? – рассуждал Виктор. – Может, все эти грёзы юности – обман, иллюзия...”

– Хайр, как думаешь, свобода существует?

– Скоро увидим, – буркнул Артём.

– В смысле?

– Забыл, в каком мы районе? Я где-то читал, что смерть делает человека свободным.

В своё время Монтана был легендой местного андеграунда. объездил автостопом всю страну, пил с Егором Летовым, ночевал в кочегарке Цоя, переплывал Обь, резал вены перед ментами, и ему, конечно, верили.

Пойти в гости к Монтане, захватив шкалик спирта, для юного неформала было то же, что буддисту совершить паломничество к Далай-ламе. Просветление достигалось в считанные часы и сопровождалось музыкальным хаосом народных инструментов, коими была увешана теснейшая комната гуру. Монтана носил жидкую косичку на лысеющей голове, клёпаную джинсу на худом теле, армейские берцы. Любил кормить голубей, здоровался за руку с блатными, читал Бердяева, и мало кто знал, что он был неплохим слесарем на заводе.

Они вошли в чёрную нору подъезда. В нос крепко ударило мочой, в ногах путалось что-то живое и мягкое – подвальные кошки.

– Только бы трезвым его застать, – сказал Артём. – Башню по пьяни сносит – не пообщаешься.

На ощупь, спотыкаясь о ступени, они добрались до пятого этажа. Артём уверенно постучал кулаком в железную дверь секции.

– На лампочку бы, что ли, скинулись, – пробурчал Виктор.
– Ты прям как с Марса...

Дверь открыла пухлая и, судя по всему, нетрезвая женщина в сорочке. Уставилась мутным взглядом на мужчин, прохрипела:

– Кого надо? Чё-то не признаю никак...
– Нам бы Ивана, – вежливо обратился Виктор.

Женщина расплылась в улыбке, обнажив черноту редких зубов.

– А-а, Ваньку! Так он в психушке лежит. На ре-би-али... ре-а-би-ли-тации!

– И давно? – не удивился Артём.

– Давно-о-о! Кукушка съехала у него, вот и лежит. – Дверь резко захлопнулась, обрубив полосу света.

– Ну и гадюшник, – Виктор чиркнул зажигалкой. – Поймай, я тут где-то знак анархии нацарапал. – Он стал водить слабым пламенем по стене. – Нашёл! Молодость вечна!..

Артём тихо улыбался в мерцающем свете – словно бы он стоял не в загаженном подъезде, а в церкви, – и с грустью вглядывался в причудливый “иконостас”.

Спустившись вниз, друзья молча потоптались у подъезда, присели тут же на лавочку покурить. Ждать было некого и нечего, кроме неприятностей. Город накрыла ночь. Со сто-

роны цыганского посёлка выли собаки. Из подвальных окон тянуло ржавчиной и гнилью. Неподалёку смеялись подростки, ритмично выкрикивая слова, похожие на стихи. “Нет, не гопники”, – Виктор поднял голову, но звёзды, видно, затерялись в тополиной листве. Он закрыл глаза и... полетел, вращаясь в космической невесомости, – прочь от Земли.

– Может, это... по домам? – предложил Артём.

Виктор очнулся.

– погоди, у меня, кажется, идея есть. – Он залез во внутренний карман пиджака и вынул документ. – Удостоверение лейтенанта полиции, – развернул корочки. – Как я тебе?

– Да так, не очень. Не видно же ничего, – прищурился Артём.

– Ношу на всякий пожарный, мало ли, – Виктор поднялся с лавочки.

– И что делать будем?

– Увидишь...

Друзья направились к компании молодых парней, сидевших за столиком в центре двора. Те оказались рэперами.

Место было не самое подходящее для тусовок. В некогда заводских общежитиях, а теперь коммуналках, квадратом окружавших двор, жили в основном спившиеся работники, уголовники или такие чудаки, как Монтана. Сутулый фонарь, единственный во дворе, нервно помигивал, создавая атмосферу мрачной “дискотеки”. Заметив силуэты двух незнакомцев, приближающихся к столику, рэперы на всякий

случай притихли.

– Распиваем, молодые люди? – Виктор показал удостоверение.

– Не, мы не пьём, – дружно ответили рэперы.

– А это что? – Виктор взял со стола бутылку, завёрнутую в пакет, и понюхал горлышко.

– Это компот, бабушка варила, – огрызнулся худой с дредами.

– Бабушка, говоришь... Ну что, оформлять будем или по-другому вопрос решим? – холодно, по-ментовски говорил Виктор.

– У нас денег нет, – насторожились рэперы.

– А что есть?

Ребята переглянулись.

– Тема есть, – нашёлся худой. – Вы уходите, а мы продолжаем наш баттл.

Компания одобрительно хмыкнула.

– Да ты крут, чувак! Йоу! Или как там у вас... – Виктор сделал нелепый жест рукой.

Должно быть, в этот момент рэперы ожидали самого страшного. Но Виктор, к их удивлению, простодушно улыбнулся и протянул руку худому. Тот её осторожно пожал.

– Молодец, что не боишься, – произнёс странный мент. – Мы тоже не боялись... Способен заценить мои текстá?

– Что?.. – недоумевал худой.

– Не ссы, нормально получится, – воодушевлённо говорил

Виктор. – Короче, я буду читать стихи, а ты будешь держать ритм ртом. Ну как, тема?

– Вообще-то это битбоксом называется, – поправил худой.

– Ладно, битбокс, не сердись. Буду знать. Ну, давай... Начали!

Худой криво усмехнулся, чтобы друзья поняли, что он “по приколу”, умело задал ритм, ребята поддержали хлопками, и Виктора понесло:

Волшебство приходит.
Вино выходит без спроса.
Без рук заводится время.
Оно – стихия вопроса...

“Йоу! Йоу!” – обезьяньим криком раздавалось в ночи, и где-то в кустах шныряли испуганные кошки.

4

Обратно друзья шли вслепую, не разбирая пути. Виктор отчаянно жестикулировал, пытаясь выразить какую-то важную мысль об их лихом прошлом, но сбивался и выкрикивал: “Панки, хой!” Артём подшучивал над ним, говоря, что ему, как панку с ментовской ксивой в кармане, ещё не поздно стать рэпером. Виктор отвечал: не вопрос, йоу, и дико смеялся.

– А нехило я их развёл? – самодовольно восклицал Виктор.

– Да, неожиданно... – с улыбкой соглашался Артём.

Хайр действительно был созерцателем и обладал способностью видеть происходящее со стороны. Он наблюдал двух крепко выпивших мужчин (один лысый, другой полный, в очках), которым следовало бы давно проститься и разойтись по домам. Но что-то их удерживало, связывало, цепляло. Не то усопшая юность, тенью бредущая по пятам; не то болезненное предчувствие завтрашнего дня – страх остаться наедине с собой, безжалостно трезвым.

Вывернув из тёмных дворов, они снова оказались на главной площади. Вокруг было тревожно и пусто. Фонари бледно освещали пространство с мёртвым фонтаном, парадным фасадом Дворца культуры и заплёванными лавочками... Друзья подошли к памятнику рабочему, старинному символу города, и задумчиво смотрели по сторонам. Слева стеклянным ящиком горел лимонно-жёлтый торговый центр, видны были парковочные полосы и часть газона. Справа дорога вела к набережной – в темноту. Вдали, за железнодорожным мостом, чернели поверженные заводские хребты; оттуда же раздавались прощальные гудки уползающих в степь поездов...

Виктор первым нарушил молчание и загадочно спросил:

– Слушай, Хайр, а ты кем себя вообще ощущаешь? Только не говори, что ты созерцатель, я эту фишку помню.

– То есть кто я по жизни? – улыбнулся Артём.

– Нет... То есть – да. Я вот о чём: внутри ты ещё панк или кто?

– Странный вопрос... – задумался Артём. – Думаю, что панк, да. Кукольный панк.

– Ну вот! – обрадовался Виктор и протянул другу ладонь, следом прозвучал ответный шлепок. – А тебе как панку слабо разбить витрину этого стеклянного чуда? – Он кивнул на торговый центр.

Артём неохотно повернул голову.

– Зачем... Там люди хлебушек покупают.

– Ты чего? Это же символ, попса! – загорячился Виктор. – Мы раньше книжки читали, музыку настоящую слушали, с “системой” боролись... А теперь люди – потребители, зомби. Сечёшь? Они ведутся на рекламу, ходят в этот сарай, берут всякую хрень – жрут, гадят и умирают!..

– Да я и сам так живу, – пожал плечами Артём.

– Ты – художник, Хайр! – Виктор нервно ходил у памятника туда-сюда. – Не смешивай себя с дерьмом. Ты своими куклами детям радость приносишь... это святое! Не то что я... Я людей обманываю, в долги их загоняю, вот как тебя с твоими алиментами. Если б ты знал, чем я вообще промышляю... Ты бы здороваться со мной перестал. Сечёшь?..

Виктор, покачиваясь, отошёл в сторону, наклонился над мусорной урной, смачно пошарил в ней рукой и извлёк тяжёлую бутылку из-под шампанского.

– Оп-паньки! В самый раз! – Он вытер грязную руку о

пиджак.

Артём с тревогой за ним наблюдал.

– Анархия *forever!* – громко смеялся Виктор, шествуя по цветочной клумбе и удаляясь в кислотный свет. – Панки, хой! А?!

– Ну допустим... Ты это серьёзно?! – вдогонку крикнул Артём, но Виктор уже подходил к зданию.

Вскоре раздался оглушительный звон, стекло градом обрушилось на асфальт, запищала сигнализация. Виктор на мгновение замер перед красотой зла, в восхищении развёл руками, но тут же опомнился, замахал Артёму, чтобы тот уходил, – и вихрем скрылся во тьме улицы.

Артём проводил бегущую фигуру взглядом, процедил сквозь зубы “дурак”, не спеша подкурил сигарету и отправился через площадь.

Больше старые друзья никогда не встречались.

Расстрига

“Возьми ножницы и подаждь ми я”, – слышал он во сне и видел перед собой старенького игумена, бегло читающего по служебнику.

“Возьми ножницы и подаждь ми я”, – глухо падали ножницы на ковёр, отчего вздрагивали и часто крестились богобоязненные старухи.

“Возьми ножницы и подаждь ми я”, – тут он проснулся и увидел над собой испуганное лицо жены.

– Прости, Миша, я фен уронила. – И виновато добавила: – Разбудила, да?

В зеркале ванной комнаты он увидел своё лицо. Михаил считал неприличным для мужчины разглядывать лицо в зеркале и всегда смеялся над теми, кто это делал. “Сие женоподобно и мерзко”, – шутил он однажды со своим сослуживцем за бутылкой коньяка. Но теперь он оправдывал себя желанием увидеть или понять через позорное лицезрение что-то, что было связано с его сном. На большой голове недельным “ёжиком” серебрилась благородная седина (после женитьбы он решил носить короткие волосы), то же было и на припухлых щеках. Из зеркала на Михаила смотрело некрасивое лицо с армянским носом, с умными, чуть прищуренными близорукими глазами. Он приподнял майку и тут же

опустил. Этого он от себя не ожидал и, чтобы замаять неловкость, ехидно улыбнулся в сторону. Майка неохотно сползла по недавно наметившемуся животу.

Жена завтракала, сидя — нога на ногу — за столом, демонстрируя толстые, сладко щекочущие его воображение ляжки. Она всегда улыбалась. Даже когда ела или читала скучную книгу. Жуя бутерброд с колбасой, Михаил рассуждал, что эта кроткая улыбка его и сгубила, стащила с него чёрный подрясник и нарядила в деловой костюм офисного программиста. Теперь улыбка казалась ему приторной и фальшивой, и он с отвращением думал, что эта улыбка, вероятно, дарится не ему одному.

— Миша, ты какой-то скучный сегодня. Это потому, что я тебя разбудила, да?

Его раздражала привычка жены говорить “да” в конце вопросительных предложений. Он считал, что так делают неумные и неуверенные в себе люди.

— Нет, — буркнул он, не глядя на жену. — Просто... спал нехорошо. Кстати, мне отлучиться надо... по работе.

— А как же мама? Мы же обещали... — актёрски подняв брови, с обидой сказала жена.

— К маме на следующей неделе сходим. Дело срочное, — соврал Михаил, вытирая жирные руки салфеткой.

Он боролся с раздражением, возникающим от необходимости оправдываться перед человеком, которого уже не лю-

бил.

– А я что буду делать? Сегодня выходной! – голосом, скрывающим большой драматический диапазон, простонала жена. Она знала, что он уже не ответит.

Михаил не помнил, когда последний раз бывал в храме. После того как надел мирскую одежду, он сторонился церкви. Ему казалось, что его сразу же узнают и разоблачат, хотя он находился далеко от тех мест, где когда-то служил. Да и в чём его можно было бы обвинить? В том, что он попрадал церковные каноны? Но в то далёкое время, когда он по уши влюбился в кроткую девушку, вечно прячущую глаза и краснеющую от мужских взглядов, – в то страшное и счастливое время каноны были так же далеки от него, как далека теперь его законная жена. Та самая кроткая и богобоязненная девушка в длинной бархатной юбке с косой ниже сокроенных мест.

В храме былолюдно и душно. Шла литургия. Михаил зашёл в притвор не перекрестившись и встал за спины прихожан, чинно кланяющихся, как колосья на ветру. Пахло ладаном. Безбородый дьякон, похожий на женщину, поднимая орарь, натужно возглашал: “Паки и паки...” В углу храма, возле иконной лавки, суетливые старушки бранились и звенели мелочью. Когда-то он мог бы припугнуть их епитимьёй, но теперь только с раздражением косился на них и чувствовал себя чужаком.

Михаил знал службу на память. Если бы ему и теперь предложили войти в алтарь, он сослужил бы без единой запинки. В семинарии он был, пожалуй, единственным, кто знал церковнославянский язык в совершенстве. Семинаристы завидовали его способностям и в шутку называли “епископом”. Начальство ставило его в пример иным батюшкам из недоучек, рано обременённых семейством, до седин читавшим по служебнику и не понимавшим того, что читают.

У алтаря, окружённый кучкой народа, исповедовал молодой священник. Бледное лицо его было в красных пятнах, как у подростка, играющего в мяч. Он много жестикулировал и пытался что-то объяснить взрослой женщине, годящейся ему в матери, которая смиренно слушала его наставления и часто кивала. Михаил смотрел на всё происходящее как на спектакль, не зная, засмеяться ли ему или повернуться и уйти. Воскресить чувство живой веры было так же трудно, как реанимировать мёртвого. Со стен неприветливо косились суровые лица святых и своим видом давали понять ему: да, ты чужой. Зачем же ты пришёл сюда?

На выходе из храма его встретили попрошайки с протянутыми грязными ладонями. И даже когда он обошёл их стороной, нищие заученно повторяли “помоги Господи” ему вслед и машинально крестились. От этого ему стало ещё гаже.

Михаил достал телефон и набрал своего приятеля. Пожалуй, единственного человека из всех офисных знакомцев,

которому хоть немного доверял.

– Слушай, давай встретимся где-нибудь. Выпивка за мой счёт.

– Лады, – услышал он сонный голос приятеля. – Давай там же...

Сидя за грязным столиком кафе “На набережной” с видом на мутную реку, Михаил вспоминал о том времени, когда юным священником служил в небольшом селе, гулял по пшеничному полю, напевая праздничные тропари. От его летнего подрясника пахло землёй и сеном. Местные жители, из прихожан, почтительно здоровались с ним и просили благословения. Служа в старенькой церквушке, освещённой тихими лучами вечернего солнца, он с особой радостью произносил любимый возглас: “Слава Тебе, показавшему нам свет!” – и казалось тогда, что не гнусавый дьячок, а сами ангелы невидимо поют в храме и в мире затихают войны.

Когда появился сослуживец с гуляющей улыбкой на губах, Михаил решил, что ничего ему рассказывать не будет. Они редко говорили серьёзно, даже когда речь шла о работе. И если он поведает, что когда-то был попом, да к тому же монахом, то ничего путного, кроме дикого смеха и сальных шуточек насчёт обета целомудрия, из этого не выйдет.

– Ты о чём-то хотел поговорить? – рассеянно спросил приятель, листая меню.

– Да нет... Просто спал нехорошо, – не желая выдумывать что-то новое, ответил Михаил.

– Ага, значит, просто решил поднять настроение, – не отрываясь от меню, лыбился сослуживец.

– Типа того.

Юная блондинка в костюме “под морячка” принесла закуску и водку. Приятель хищно оскалился, провожая её взглядом.

– Слушай, а ты с Катериной Ивановной ещё как... мутишь?

– С ней опасно мутить. Она мне всю спину исцарапала, – выдавил улыбку Михаил.

– Зверь баба! – оживился приятель. – Но мне говорить на эти темы противопоказано, – сделал он невинное лицо, лукаво блестя глазами. – Жена меня крестить собралась. Говорит, надо с тобой, Тошик, что-то делать, а то так и помрёшь нехристом. А ты сам-то крещёный?

– Крещёный, – сухо ответил Михаил и потянулся за бутылкой.

– Не, я, конечно, попам не верю. Кто их знает, чего они там себе в бороду шепчут. Я в Бога верю, – серьёзно сказал приятель и от этого заметно поглупел лицом.

– Ну, за Бога тогда и выпьем... – сказал Михаил, опрокинув ледяное зелье в рот.

Михаил не мог вспомнить, что и когда пошло не так в его жизни. Вот он – умный ребёнок, сын учительницы, берущий с полки взрослые книги и удивляющий своими позна-

ниями школьных учителей. Вот он – молчаливый студент с пытливым взглядом, жадно ищущий то, чему можно было бы отдаться целиком, без остатка. На языке вертелось избитое слово “истина”. Но что такое истина и есть ли она вообще, он не знал. Вот он – бросает институт, “поселяется” в церковной библиотеке, и неотмирный язык Евангелия перекраивает его душу, открывая ту самую истину, которую он искал и которая есть Христос. Вот он – крестообразно лежит в центре храма в белом хитоне и слышит старческую речь игумена: “Что пришёл еси, брате, припадая святому жертвеннику и святей дружине сей?” И он со слезами отвечает: “Желая жития постнического, честный отче...” Вот он – юный иеромонах, служащий свою первую литургию в светлом облачении, прощающий иронический шёпот бывалым толстопузым попам и надменным епископским подхалимам. “Где же та серая капля, та червоточинка, с которой всё началось?..” – спрашивал себя Михаил, и его тонкая мысль против воли упиралась во что-то твёрдое и неприятное, чему нет названия...

Распрощавшись с приятелем, Михаил решил в этот же день пойти на исповедь. Он сворачивал на безлюдные улицы, бил себя по щекам, чтобы вышел хмель, и рассуждал, что если нынче же этого не сделает, то не сделает никогда. И словно бы где-то внутри просыпалась надежда, словно бы он заново обретал потерянную веру, и, посмотрев в небо, он

обрадовался тому, что небо было безоблачным и светлым. И первый раз за всё “безбожное время” он истово перекрестился, не обращая внимания на прохожих, подняв голову к небу, – словно бы ему пели ангелы, словно бы в небе проявился лик Того, Кого он так горячо любил и так бесстыдно оставил... “Я пойду, даже если там будет этот краснощёкий юнец, мне всё равно, – думал Михаил. – Пусть он коснётся меня своей епитрахилью, как я когда-то касался грешных голов, и тогда всё изменится...”

“Я свободе-е-ен!” – неожиданно запело в его кармане.

Михаил вздрогнул и достал мобильник.

– Да...

– Здравствуй, Миша. Узнал?

– Катя, ты?

– Я сегодня одна, и в моём холодильнике задыхается от пробки бутылка хорошего вина. Нужна помощь. Ну? Чего молчишь?

– Жди. Я приду.

Михаил сплюнул на асфальт и скорым шагом направился в сторону автобусной остановки.

Окно напротив

Каждую ночь в окне дома напротив зажигается свет. Горит – яркий, как от светильника, с которого сорвали абажур, – до самого утра. Я смотрю на него из своей конуры сквозь гущу осязаемой тьмы, сковавшей двор, ветви деревьев, похоронившей день.

Стынет чай. От монитора на стол падают холодные блики, обнажая слева край ступенчатой книжной башни, справа – послушную мышь, полумесяц кружки и стальную полоску чайника, по центру – мой восковой лик. Всё, что за спиной, съедено мраком.

“Ночь. Город уgomонился. За большим окном тихо и торжественно, как будто человек умирает...” Точнее не скажешь. Волоокий Блок. Слишком холодно, чтобы шуметь под окнами, тащить пьяных девок за волосы и выяснять отношения насчёт предательской эсэмэски... Сентябрь. Чёрная ночь, волчья.

Окно напротив ослепло. Так бывает. Совсем черно, тихо. Погасла точка, благодаря которой можно было бы думать, что мир существует. Мир умер, потух. Есть только я и окружающая меня тьма, которой можно коснуться, опасаясь, что пальцы завязнут в чём-то пахучем и липком, как дёготь.

Человек без абажура прилёт на кровать, сомкнул очи, задумался. Кто он? Почему не спит по ночам? О чём дума-

ет? непогашенный кредит, тревога за отечество, болезнь...
Неизвестно. Почему так хочется знать об этом...

В этот час интернет вял и непослушен. То окно погасло.
Это – горит. Я вхожу в мир, где всегда светит солнце.

Новых сообщений нет. Собственных посланий – тоже. Я
никому не пишу – лень, да и с какой стати. Я вижу солнечную
жизнь знакомых и незнакомых мне людей. Ночь, а они не
спят: делятся мыслями, тоскуют, пускают розовые пузыри,
спорят... Я проникаю в чужие миры, наблюдаю.

Человек любит копаться в прошлом. Я тоже. Я – человек.
Прошлое – долговая тюрьма, сумерки жизни. В сумерках
всегда что-нибудь теряешь – любовь, честь, молочные
зубы. В сумерках бывает страшно, но они притягивают, как
тихая глубина обрыва. Ты невольно вглядываешься в тени,
в мерцающие огни, боишься, но смотришь – до мигрени, до
слепоты... Невозможно забыть.

Загляну-ка, что там мои старые приятели, что там мои
детские дружбаны. Никогда не делайте этого. Сумерки опасны.
Привычно скольжу мышкой. Кто это? Нет, это не он. Это
кто-то чужой. Что он слушает?! Зачем эта крашенная девица
на его коленях? А ведь я помню запах сладких червивых яблок,
что мы кидали с тобой через забор на головы прохожих,
а затем прятались в шалаше. Ты хладнокровно раскорячивал
свои старые болячки до крови и улыбался, а я смотрел, морщился
и думал о боли. О чужой боли...

Жадно отхлёбываю чай. Я всегда пью крепкий.

Так, идём дальше. А вот и ты, дружище... Вернее, то, что от тебя осталось. Рябое щекастое лицо умеренно пьющего мужчины средних лет. Пускай ты не стал поэтом, зато детская мечта сбылась: изо дня в день ты возишь на стареньком автобусе людей. Сигналишь, давишь на газ, посылаешь на... – от точки до точки, с утра и до поздней ночи. Женат. Фотографии жены нигде нет. Неспроста ты её прячешь. Я не поленился представить толстое капризное существо с двойным подбородком: “Миша, иди борщ жрать. Миша, не заглядывайся. Миша, мне бы шубку на зиму присмотреть...” Не ты ли читал мне пронзительные стихи о “пьяных звёздах” в сигаретном дыму коммунальной кухни и намеревался бежать в Питер? Да что там... Вечная память.

Я тоже никуда не сбежал. Ничего не добился. Слово-то какое – “добился”, будто я должен всю жизнь долбить в чью-то дверь, чтобы мне отворили и угостили конфеткой мира сего. Нет уж, я лучше подремлю, покурю, повращаю глазами. Странные мысли поселились в моей голове надолго, перезревшие слова скребут горло. А некому. И незачем. Хроническая немота и вялотекущая меланхолия. Ночь – возможность бессмысленно вглядываться в темноту и пить чай. За здравым смыслом – к солнцу и тем, кто склонен корчиться под его лучами, играя в настоящую жизнь. Глоток, ещё глоток... Хорошо...

Есть пустынные, сиротливые странички, как брошенные дома с пылью, забытыми вещами и запахом человеческой

тоски. Присохшие к “стене” сообщения пятилетней давности без единого смайлика, как строки в газете о пропавшем без вести, навевают тревожные мысли. Что с ним? Умер, от-
решился от мира, перебрался в фейсбук...

Её нигде нет. Пусто. Даже “слепой собачки” – и той нет. Первая любовь – самая долгая и болезненная, как кошачий укус. Я привязывал её к холодному столбу качелей (по мотивам “Рабыни Изауры”), вставлял в рот пахучую тополиную ветку, чтобы молчала. Она не сопротивлялась. Это всего лишь детская игра. Я носил её на руках и целовал в сладкие конфетные губы. Кто-то мне сказал, что она вышла замуж, родила и уехала в деревню: не то Бобровку, не то Борзовку. Впрочем, один хрен. Но ведь прогресс, информационное общество, все дела. Какой должна быть твоя жизнь, Катя, что даже “слепой собачки” у тебя нет? А если твой муж дурак и пьяница, что почти очевидно... Только бы жила. Живи, Катя. Ведь отсутствие имени в Сети ещё не говорит о том, что тебя нет “здесь”, где царит ночь и рука тянется подогреть ещё чаю...

Иду на ощупь в сортир. Шарю выключатель. Рука в из-
вёстке. Темно. Нашёл. Жмурюсь. Толчок захлёбывается во-
дой, шумно отрывает, умолкает. Так же на ощупь возвра-
щаюсь обратно. Полстакана заварки, затем кипяток – чай го-
тов. Можно жить.

Тебя я нашёл сразу. Стройная блондинка за рулём сия-
ющего авто. Умница. Твоё послание считывается безупреч-

но: фитнес, пляж, клубные мальчики. Любой поймёт, что ты счастлива, успешна и живёшь всей полнотой солнечной жизни. Те же бесстыжие глаза, влажные, как у русалки. Тебе далеко за тридцать, детей нет. С трудом верится, что на этой тонкой руке (утомлённой бесконечными селфи) когда-то пестрели феньки, что эти пальцы резались в кровь о жёсткие струны. В тебе было достаточно хаоса и тёмного опыта, чтобы в свои шестнадцать камлать Янкины песни у костра, заставляя меркнуть тихие степные звёзды... Впрочем, я любил тебя. Недолго. А потом наш чердак забили досками, голуби помёрзли в январскую стужу, и в моём хвосте засеребрился первый седой волос.

Сумерки прошлого сгущаются. Занавес. Театр теней откланялся и разбирает декорации. Я отвожу взгляд от монитора, делаю несколько горьких глотков и вижу – в окне дома напротив снова горит свет. Но теперь он как-то странно мерцает, словно подаёт мне сигнал.

– Не спишь? – моргает светильник.

– Не сплю, – отвечаю я.

– Вот и мой хозяин не спит. Всё думает.

– О чём же он думает?

– Да кто вас, людей, поймёт. То верёвку к трубе прилаживает, то чай пьёт.

– А к окошку подходил, улыбался?

– Улыбался.

– А песни русские, протяжные пел?

– И песни пел.

– А бутылки под кровать прятал?

– Дурак ты...

– Это почему же? – удивляюсь я.

– Да кто ж со светильником разговаривает, – лукаво подмигнул светильник.

Чьи-то руки снова коснулись выключателя, и комната опрокинулась во мрак. Веки тяжелеют, глаза жмурятся против воли. Я нажал кнопку компьютера и лёг на кровать.

Когда придут люди, свяжут меня и напичкают лекарствами, будет утро. Они станут убеждать меня, что ночь для сна, а день для работы, что кушать полезно, а бухать вредно, что разум для войны, а война для мира, что две параллельные линии никогда не пересекутся, никогда...

Дорога домой

Погода выдалась слякотная, бабья, с пломбирным снежком, лужицами, почти апрельская, хотя на календаре – первое ноября. Прошлый ноябрь я хорошо запомнил. Было не так. Закостеневшая серая земля, скупо присыпанная снегом, смотрела мрачно и торжественно, как на кладбище. Дули пронизывающие ледяные ветра. Люди отогревали кровь водкой и батареями. На улицах было меньше легкомыслия и суеты. А нынче погляди в окно...

В этот день я решил поехать домой, в город моего детства. Ехать не хотелось, настроения не было. Думал: пойти бы теперь по привычному чавкающему маршруту – от дома до работы (и обратно), только бы не сворачивать на слякотный и мрачный железнодорожный вокзал. Любой, даже самый приличный человек, попав в бермудский треугольник вокзала, становится похожим если не на урку, то на очень подозрительного гражданина. И, судя по реакции встречных прохожих, на тебя смотрят ровно таким же образом. Но делать нечего – на работе объявили “праздничные дни” (о самом празднике, ей-богу, ничего не знаю), значит, надо ехать.

Иду на вокзал. Покупаю билет в кассе для пригородных поездов. Мне говорят:

– Только “стоячие” остались. Брать будете?

Простаивать шестичасовой путь в поезде мне не приходи-

лось. Нет уж, схожу на автовокзал, авось повезёт. Прихожу – тёмные, змеевидные, шевелящиеся очереди с туманными, как сама погода, перспективами. Бегу обратно к железнодорожной кассе. Становлюсь в очередь. Передо мной полная женщина с огромной клетчатой сумкой растерянно спрашивает:

– А стоя – это как?

Немая сцена. Пауза повисает в чахоточном, влажном, тревожном воздухе. Я покупаю “стоячий” билет и направляюсь к перрону.

На перроне люди накуриваются до кашля, до тошноты. В тамбуре теперь нельзя, запрещено законом. Голос из динамика оглашает отправление. Я присматриваю себе место в тамбуре, у жёлтого, когда-то и кем-то прокуренного окошка. Обладатели “сидячих” билетов набивают собой вагон до предела, как сельди банку, и, изнемогая от духоты, часто дышат в светящиеся экраны телефонов. Поезд трогается.

Я стою и смотрю в окно, крепко ухватившись за холодный металлический стержень, отражая зрачками розово-мутный закат ускользающего города. Чёрные лесные прорехи кажутся бесформенными и таинственными, как тёмная материя, способными затянуть в свою глубину не только случайный отблеск человеческих глаз, но и сам поезд с людской сонной беспечностью, двухвостие железнодорожного полотна, вереницу встречных станций и сёл... Огарок заходящего солнца с шипением потухает за неведомой чертой горизонта. Мер-

ный стук колёс сопровождает меня в неизвестность, где границы человеческого пространства стираются, и взору открываются мерцающие степные дали...

Домой всякий раз едешь по-новому – то с тревогой, то с радостью. Там – дома, в маленьком провинциальном городке, где лежат руины когда-то гремевшего на весь Союз тракторного завода и появляются как грибы кислотно-яркие супермаркеты, – ничего не осталось, кроме родителей и первого крика. Ничего – кроме серого неба и людей, карабкающихся в паутине повседневности. Прошлое заросло горькой полынью, зерно умерло, чтобы прорасти в новой земле, для новой жизни...

Память просыпается только здесь, в пограничности поезда. Она идёт на ощупь в сумерках прошлого, запинаясь о детские игрушки, путаясь в бельевых верёвках, цепляясь и ранясь в кровь о тополиные ветки, пронзающие звёздную муть. И тут действительность меркнет... Я начинаю забывать город, из которого только что уехал, чавкающий рабочий маршрут, лица знакомых, мельтешащий снег, – робко осязая чьё-то немолодое измученное лицо и влажные глазные впадины. Неужели это я?..

– Ты, – говорит мне посторонний голос. – Выпить хочешь? Обращиваюсь. Вижу двух парней в шапках-гондончиках и в чёрных одинаковых пуховиках. Они пьют что-то крепкое и чистое, как январь, – они тоже обладатели “стоячих” билетов. В их словах чувствуется тепло и забота о ближнем,

но лица обнаруживают иронию к отстранённому мечтателю с крашеной прядью выбившихся из-под шапки волос.

– Спасибо, не хочется, – отвечаю я.

– Смотри, замёрзнешь, – говорит попутчик, улыбаясь широкой улыбкой. И тут же обращается к своему приятелю. “Эх, закурить бы...” – вызвав на его лице улыбку молчаливого согласия. Но закурить нельзя. Зато на выпивку сонные проводницы лишь устало косятся и шелестят дальше по вагону. Дать замёрзнуть пассажирам в холодном тамбуре им явно не позволяет совесть.

Едем дальше. Прежние мысли рассеялись. Я стал невольно прислушиваться к разговору попутчиков, внешне похожих на студентов. Но я ошибся, это были не студенты.

Оказалось, что ребята приехали в город из маленького села на заработки. Со скрипом окончив среднюю школу, они успели сходить в армию, разругаться с родителями и корешами – в период длительной и бесшабашной дембельской эйфории. У коренастого и улыбчивого Димона сорвалась свадьба с одноклассницей, а у худого и угрюмого Славика по пьяни задавило трактором отца. Дембельская вольница в прошлом. Теперь они поутихли, присмирели, отдышались на свежем сибирском воздухе, глаза посерели и прищурились. Нужно было как-то жить дальше. И два школьных приятеля, с надеждой на долгую счастливую жизнь, отправились в краевую столицу, чтобы стать победителями, а стали простыми рабочими на стройке в центре города. Благодаря их усили-

ям к небу медленно поднималось значащееся в бумагах как “офисный центр” большое пятнадцатэтажное здание.

– Как думаешь, трахнул он мою Любку тогда, на выпускном?.. – услышал я последнее из разговора попутчиков, прежде чем зайти внутрь вагона – погреться. И плотно закрыл за собой дверь.

В вагоне не продохнуть. Я встал рядом с вагонным “самоваром” (похожим на самогонный аппарат), от которого жарило, как от русской печи. Но находиться вблизи огня и чувствовать, как отогреваются замёрзшие конечности, было приятно. Через заляпанное стекло двери я видел беззащитные, потные, чуть подрагивающие тела спящих людей. И их почему-то было жалко.

В купе для проводников через приоткрытую дверь я заметил красивую девушку в тёмно-синей железнодорожной форме. Когда я окликнул её, она, кажется, разгадывала кроссворд, забавно, как школьница, покусывая колпачок шариковой ручки.

– Кофе?

– Ага.

– Вам с сахаром? – охотно суетится она в шкафчике, где хранятся дешёвые сладости и напитки.

– Да, если можно – два.

– Ой, а сахара нет, – виновато улыбается проводница. – Может, шоколадку возьмёте?

– Не нужно. Просто кофе.

Приятно, когда миловидная девушка, пусть и по долгу службы, оказывает внимание: шуршит пакетиком, волнуется, прячет глаза. Цена услуги – пятнадцать рублей. Должно быть, она недавно на этой работе. Есть и другие проводницы – бывалые: крашенные блондинки за сорок с жёлтыми отёкшими лицами, cedящие в твой стакан сырую тёплую воду. Их тоже жалко, как и спящих людей. Подумал: бесконечный путь – не ведущий даже к самому завалющему, самому захудалому счастью. А дома сны с лицами непрошенных пассажиров, после – томительный рейс, опять сны и мелькающий телевизор в пустоте комнаты. И через несколько лет, будьте любезны, конечная станция...

Я смотрю в тусклое стекло и вижу человека с застывшим взглядом, жадно глотающего дешёвую горечь из пластикового стаканчика, а если сморгнуть это видение, взору откроется мутная движущаяся степь с одиноко мерцающими огоньками. Я мысленно оставляю себя одного в степных сумерках и, завязнув в сочной грязи под звёздным небом, прислушиваюсь к звуку удаляющегося поезда...

– Простите. Не подскажете слово из семи букв? – слышу за спиной голос девушки-проводницы.

– Что? Да, конечно.

Оборачиваюсь. Вижу её умный, пытливый взгляд, робость и нетерпение.

– Философское понятие, способ идеального человеческого существования вопреки социальной и биологической

необходимости? Семь букв. Я решила, что счастье...

– Счастье? Надо подумать.

– А вы проходите в купе. В ногах правды нет, – сказала она банальность и натянуто улыбнулась.

– Но правды нет и выше, – зачем-то сболтнул я, вошёл в купе и сел рядом.

В окошке замелькали размытые огни, привокзальные хижины, мрачные товарняки. Поезд нехотя тормозил, вползая на незнакомую станцию. Яркие прожектора обнажили его зловещее гусеничное тело.

– Ой, я пошла, – пролепетала девушка и выпорхнула из купе.

Через минуту я почувствовал сумеречное дыхание станции с примесью осенней гари и сигаретного дыма. По ногам загулял холод. Из вагона вышли два пассажира – девушка-студентка и её пожилая мать в каракулевой шапке, волочащая за собой непонятно чем набитый старомодный рюкзак. Девушка с чёрной женской сумочкой, вероятно, стеснялась матери и ядовито подгоняла её, приглушая слова, но выразительно интонируя шипящими. Станция была незначительная, пятиминутная. Проезжая подобные места, я всегда думаю, как бы мне жилось здесь и что бы я стал в этой глуши делать. После некоторого размышления и взглядывания в безлюдные одичалые дворы, словно бы брошенные кем-то небрежно в поле, мне всегда делается страшно. А живут ли там вообще люди? И если живут, то как...

Вскоре вернулась красивая проводница, и мы познакомились.

– Иван.

– Очень приятно. Катя.

Я попросил ещё кофе, а она налила себе чаю. Я осмелился угостить её шоколадкой. Она согласилась. Так мы перешли на “ты”.

– Теперь станция не скоро будет, – сказала девушка. – Можно кроссворд погадать.

– По-моему, ты ошиблась.

– В смысле?

– Насчёт “счастья”.

– У тебя есть другой вариант?

– Да. Я над ним думаю.

– Интригующе, – ухмыльнулась она.

– Да пустяки... Ты где-то учишься?

– На психолога, заочно. А здесь подрабатываю.

– Я так и понял.

– А ты?

– Где учусь? Да нет, я работаю... Актёр театра.

– Интересно.

У “самовара” показалось сонное, добродушное лицо старушки в сером пальто. В руках она держит предварительно вынутую из целлофанового мешочка личную дорожную кружку. Кружка жёлтая, с гротескным изображением сисястой бабы и надписью: “С днюхой, мужик”.

– Деточка, налей кипяточку. А чай у меня у самой есть.

За окном уже ничего не мелькало. Стояла тёмная пелена, и только звёзды знали, как черно и страшно в холодной степи, как трудно одинокому, хмельному, забредшему кривым путём к блистающим под луной рельсам, не положить на них свою шальную голову.

– Дай тебе бог здоровья, милая. А чая не нужно, у меня и у самой чай найдётся...

Старушка медленно уходила в душную утробу вагона и долго ещё что-то бормотала сама себе.

– Слушай, Кать. А те двое в тамбуре ещё стоят?

– Стоят. Точнее, сидят на корточках.

– Я пойду... выйду ненадолго.

– Зачем? Ты ведь слово обещал сказать...

– Я только воздухом подышу и вернусь. Душно тут.

И зачем нужно было говорить ей, что я актёр, когда я всего только простой как рубль консультант отдела бытовой техники в гипермаркете. Не понимаю...

Я зашёл в сортир, смыл с лица холодной ржавой водой стыд и жирный пот, назойливо выступавший в душном, нагретом вагоне. Ну да, понравиться ей... Я смотрю в мутное зеркало, зализывая назад мокрыми ладонями отросшие за полгода волосы. Надо бы подстричься. И этот эксперимент с крашеной прядью под седину – какая всё-таки глупость... Ну не рассказывать же ей о том, как изо дня в день я надеваю белую рубашку, дурацкий бейдж и с усталой полуулыбкой,

при полном отсутствии жизни в глазах, объясняю похотливой домохозяйке, как пользоваться кофеваркой. Поэтому отныне я актёр... Маргинальное пространство несущегося во тьму поезда позволяет быть кем угодно, всё здесь подвешено в воздухе, оторвано от привычной жизни, и возможность повторной встречи с попутчиком ничтожно мала... Однако надо выбираться из сортира.

Так и есть. Они до сих пор в тамбуре. Сидят на корточках друг против друга в железном прямоугольнике с зарешёченными окнами, будто в карцере.

– О, снова ты! Погреться пришёл? – пошутил улыбчивый Димон. – Выпьешь?

– Выпью, – ответил я.

– Ну, садись, дружище. В ногах правды нет.

Я присел на корточки. Славик одобрительно осклабился и сделал глоток из горла.

– Я – Дима, он – Слава. А тебя как звать?

– Иван.

– Дай ему, Слав, пускай погреемся. Извиняй, мы без закуси.

– Да нормально всё, – я отпил из бутылки.

– До конечной?

– Ага.

В бутылке были русские луга, похороненные до весны, выстуженные до ковыльей кости. Точнее, водка называлась “Русские луга”, но вкус оправдывал название. Помнится, та-

кую я пил в юности. Тогда всё равно было – что есть, что курить, что пить. И дорога казалась странствием, а не поездкой по необходимости. Алкоголь подействовал как обычно – потянуло на философию.

– Вот ты сказал, что в ногах правды нет, – обратился я к Димону. – Интересно, что не ты первый, кто сегодня мне об этом говорит. А в чём, по-твоему, правда?

– Ну, ты загнул, дружище, – заулыбался Димон. – Ты как в кино, это... Как его... Славик, как кино называется про Данилу, это, “в чём сила, брат”?

– “Брат” и называется, – нехотя ответил Славик.

– Ну да, “Брат”. Там: в чём сила? – в правде. А ты теперь, типа, спрашиваешь: в чём правда, брат? Так, что ли...

Димон истерично захохотал. Его разгорячённое прыщавое лицо странным образом контрастировало с застывшей “маской” Славика, бледной, словно у актёра китайского театра.

– Да нет никакой правды, – неожиданно заговорил Славик. – Для вас, городских, правда, может, и есть. Волосы вон покрасил в другой цвет – вот тебе и правда. – Он презрительно кивнул на мою прядь. – А у нас своя правда. Вот нас со стройки погнали с Димоном – одна правда...

– С третьей уже, – вклинился тот.

– Да неважно с какой. Теперь домой едем. А дома мать без работы сидит, больная, отца недавно схоронили – другая правда. Село наше – дыра. Работы – нет. Либо пьёшь, либо

в город едешь калымить. А в городе ты нахрен никому не нужен...

– Это ты зря, дружище, – не согласился Димон. – Оклемаемся маленько и снова в город рванём.

– Рванём, – горько ухмыльнулся Славик, – ну да, деваться-то некуда.

– Чё ты ноешь? По-твоему, мне вздёрнуться надо было, когда за меня Любка не пошла?

– Нашёл из-за кого вешаться. Школьная любовь. Да всё село знает, что она блядь.

– Чё ты сказал? Ты кого блядью назвал, чмырина...

Димон ошетинился и полез на Славика. Я отвернулся. В окошке снова замелькали привокзальные огни. Кажется, станция.

– Ребят, не ваша станция? – ляпнул я наугад.

– А... Чё... И впрямь наша!

С крыши одноэтажного бревенчатого здания грустно смотрело выцветшее название станции – “Победим”.

Школьные друзья возились на холодном железе не более минуты. Вскоре появилась Катя с испуганным лицом и восторженно на меня посмотрела. Улыбкой я дал ей понять, что “всё хорошо” – обычная ссора, обычная станция, жизнь продолжается.

Пацаны вышли из вагона. Молча, в знак примирения, дали друг другу прикурить и неспешно отправились по грязной дороге в осеннюю мглу.

– Катя, скажи мне как будущий психолог, почему в юности дорога казалась длинной, красочной и интересной, а теперь она стала просто длинной?

Я снова сижу в купе и пью кофе. Катя – чай. Я стараюсь не дышать в её сторону и прячу глаза.

– Не знаю. Я только учусь, – сухо сказала она, вероятно, учуяв запах.

– Тогда я сам тебе скажу. А ты слушай и запоминай. Это может тебе пригодиться. Так вот. Раньше дорога была праздником...

Поезд медленно набирает скорость, ровно отстукивая унылые ритмы, унося тела людей в какое-то неизвестное будущее, а меня – в прошлое. Не устаёшь смотреть в окно на нескончаемый гениальный пейзаж. Словно из поезда сделали новомодный арт-объект и повесили на окна копии полотен художника Сурикова.

– ...а теперь – нет. Вот и вся психология.

– Интересное наблюдение. Обязательно упомяну об этом в дипломной работе.

– Конечно, упомяни. И не дуйся на меня. Нельзя сердиться на человека, у которого есть дом, но нет желания туда ехать. Это сложная внутренняя драма. Тут одной психотерапией не обойдёшься...

– Слушай, – как бы спохватившись, перебила Катя, – сейчас начальник поезда может прийти. Ты не мог бы пока в тамбуре постоять?

– Мог бы, – спокойно ответил я. – Но, как пассажир, я могу купить ещё кофе?

Катя сверкнула глазами и вышла в соседнее купе.

Ну вот и хорошо. Вот и ладошки. Я взял ручку и печатными буквами вписал недостающее слово из семи букв – “свобода”.

В тамбуре свежо, тесно и одиноко. Но, Господи, как хорошо! То ли от водки, то ли от выполненного долга: слово я всё-таки отгадал. Поезд тянулся к очередной заброшенной в глухомани станции и лениво подавал кому-то сигналы, точно отпугивал волков: у-у-у... у-у-у...

Вот дверь. За дверью что-то мерцает и величественно молчит. Какая красота! Постояв минуту в раздумье, я подался вперёд, открыл боковую тамбурную дверь, осмотрелся и прыгнул в ночь...

Тишина. Степь равнодушно приняла меня в старушечьи объятия. По правую сторону, где скрылся чёрный хвост поезда, горят редкие человеческие огни. По левую – тьма, хоть глаз выколи. Там черти следы заматают. А над головой – звёзды.

Мышиные песни

Дом Евлохи смотрел на одну из главных улиц большого города. Бревенчатая изба досталась ему от деда с бабкой, а родителей своих он не помнил. Оба спились ещё в девяностые, оставив задумчивому младенцу странное имя Евлоха, букет хронических заболеваний и тайну жизни.

В детстве, когда бродившее до времени сознание несколько отстоялось, Евлоха впервые почувал мир. Это была тесная комната с мутным зеленоватым оконцем, чаще холодная и сырая, реже душная и вонявшая дегтярным мылом. Тогда же, в тёмном углу обрётённого мира, он познал счастье. Оно изредка появлялось на порошке в закопчённой кастрюле и пахло матерью. Забравшись под банный полоч, мальчик упоённо и шумно чавкал счастьем, а после сидел на прогнивших досках и пел мышиные песни.

Дед с бабкой, будучи опекунами, померли. Их увезли куда-то за город и зарыли в землю. Евлоха знал, что за городом есть огромная свалка и старое кладбище, но куда именно увезли его родственников, он не знал. С тех пор Евлоха жил один в доме.

Евлохе было чуть больше двадцати. Он выглядел худощавым юношей с голым, как яйцо, черепом и короткими голубыми глазами. У Евлохи никогда не было друзей, чужих людей он боялся, а родные все померли. Юноша редко выходил из

дома: спал у печи, варил картошку, раздувал красные меха на дедовском баяне и пел песни. Дед кое-чему научил внука, и потому звуки не разбегались по-тараканьи, не шепелявили, а послушно выплывали из-под его тоненьких пальцев, складываясь в цветные замысловатые картины, которые видел и которым тихо улыбался Евлоха.

Однажды, услышав игру на баяне, его позвала на поминки соседка, у которой умерла дочь. Женщина сказала: “Утешь сердце, Евлоха. Не придёшь – ищи меня завтра в сарае на петельке”. Евлоха не умел отказывать людям. Вечером у соседки, когда была выхлебана поминальная лапша и выпита водка, он, сидя на лавке, пел мышинные песни, создавая в воздухе невидимые людям картины. Ему говорили: “Чего ты там пищишь, Евлоха?” – и усмехались, хоть и поминки. А он смиренно отвечал: “Я не пишу, я пою”. И вспоминал далёкое детство с материнским счастьем в кастрюле, духотою, мышиною вонью и оконцем, в котором грезилась новая жизнь, оказавшаяся не такой уж чудесной – из-за людей и лишнего шума.

После смерти стариков первое время Евлоху подкармливали их добрые знакомые, тоже старики, понимая, что он всё равно как дитё малое. Но потом и те померли, и пришлось парню кормиться самому. Поразмыслив тогда, походив по скрипучей избе, Евлоха решил, что крепко знает лишь одно дело – петь под баян мышинные песни.

Евлоху стали замечать у главного супермаркета в центре

города. Обычно он стоял у входной двери, нарядный, спрятав шею в бабкин цветастый платок, и в дедовских шароварах. Горожане видели в нём дурачка и порой бросали в коробку звенящую мелочь. Когда люди возвращались с пакетами домой, то говорили домашним своим, что встретили сумасшедшего, который не поёт, а пищит что-то на птичьем языке. Говорили они так потому, что не знали мышиноного языка, да и птичьего не знали и плохо знали родной язык, русский. Потом они громко смеялись, потому что казались себе остроумными людьми, ели купленную еду и садились у телевизора. Лишь однажды напротив Евлохи остановилась бледная девушка в берцах и в шляпке с зелёной вуалькой и полдня слушала его песни. Вряд ли она понимала мышиный язык, просто Евлоха в тот день слегка пританцовывал и в болезненном воображении девушки казался сказочной птицей.

Так Евлоха и жил в своей избе, кормился чем Бог послал, а по вечерам, когда упражнялся на баяне, жёг церковные свечи, которые изредка приносила ему набожная соседка. Юноша мерил качество своего мастерства тем, как часто из норок выбегали хвостатые ценители: замирали они с робким любопытством или же суетливо вычищали крошки из-под стола. Особенно радовался Евлоха, если какой-нибудь мышонок без страха забирался на его колено и весело шевелил хвостиком, выражая тем самым мышиный восторг.

Как-то осенью, когда Евлоха растапливал печь, избу оглу-

шил злой некрасивый звук, спугнувший мышат и нарушивший тихую ауру жилища, – кто-то стучал в окно. Выйдя во двор, усыпанный лимонной листвой, Евлоха увидел большого чёрного человека, а у ограды – большую чёрную машину. Незнакомец спросил:

– Ты Евлоха?

Еvloха ответил, что – он.

– Тогда слушай сюда, – сказал чёрный человек. – Место тут подходящее. Мы тебе рекламу на забор повесим и раз в месяц будем подкидывать денюжат. Согласен?

– Согласен, – ответил юноша.

Еvloха не умел отказывать людям.

Утром он увидел на заборе плакат с крупной надписью “Эрос” и ещё какие-то мелкие буквы и цифры. Евлоха решил поинтересоваться, что означает слово “эрос” и не значит ли оно чего-нибудь плохого. Он разыскал в доме тяжёлый дедовский словарь и прочёл первое, что встретилось его глазам: любовь. Эрос – значит любовь. Евлоха знал, что любовь – это хорошо. На том и успокоился. К тому же в последнее время от супермаркета его стали гнать охранники, а однажды увели за угол и разбили лицо в кровь. “Будут мне денежки на хлеб да на молоко”, – грезил Евлоха.

Когда в другой раз к Евлохе снова пришла соседка, он подумал: “Не помер ли ещё кто?” Но оказалось, что никто не помер, а, напротив, соседка была беременна. Она сделала смиренное лицо, какое делала в церкви, и сказала:

– Нехорошо, Евлоша. Ой, плохо...

– Что – плохо? – удивился тот.

– А вот реклама на твоём заборе – плохо. А то, куда она указывает, – совсем плохо.

– А куда она указывает? – встревожился Евлоха.

– На очень плохой магазин она указывает, – лукаво улыбнулась соседка. – Батюшка на исповеди сказал, что сжечь её надо.

– Кого сжечь – магазин?

– Да не магазин, дубина... Рекламу ту сжечь надо! А не сожжёшь – сам сгоришь в геенне огненной, – заключила женщина.

Затосковал Евлоха. И деньги, которые ему действительно раз в месяц привозил чёрный человек, не радовали, и продукты, купленные на эти деньги, казались пресными и безвкусными, точно вата; и песни мышинные сочинялись реже, так что зверьки совсем было перестали выглядывать из потайных норок. Вроде бы и жил Евлоха, а на деле – плоть свою, распухшую от харчей, носил и спал больше прежнего.

Уже зимой, мучаясь бессонницей в долгую сибирскую ночь, Евлоха запалил церковную свечу и в одной рубахе вышел во двор. Ночь тихо смотрела на него россыпью звёзд, точно мёртвыми светлячками, приколотыми к чёрному полотну. Чуть ниже горели окна высоких новостроек, жизнь в которых так и осталась для Евлохи тайной. “Зачем они томятся, бегут куда-то, смеются резиновыми ртами и мало

любят...” – думал он про себя.

Евлоха поднёс свечу к нехорошему плакату. Баннер стал неохотно плавиться, ядовито зашкворчал, затем вспыхнул и запылал во всю мощь, освещая пламенем ветхую избу, заснеженный двор и часть злополучного проспекта. Реклама сгорела быстро, а схватившийся огнём забор юноша проворно забросал снегом. В ту ночь ему спалось как никогда сладко. Снились добродушные мышата, дед с бабкой и бледная девушка...

Через какое-то время в “горячей линии” местного телевидения промелькнула информация о поджоге частного дома с человеческими жертвами на таком-то проспекте. Но высокий серебристый тополь увидел это событие иначе.

Зеваки, отойдя на безопасное расстояние, снимали пылающую избу на телефоны. Соседка охала и причитала у себя в ограде: “Говорила тебе, Евлоша, сгоришь в аду” – и поглаживала круглый живот. Чёрный человек скучно наблюдал из окна автомобиля, чиркал зажигалкой, курил, думая о новой поставке искусственных женщин. Бледная девушка в берцах и шляпке стояла на другой стороне улицы с вялой улыбкой на губах. Никто, даже серебристый тополь, не знал, откуда она взялась. Впрочем, она одна слышала, как из-под развалин догорающего дома мыши пели прощальную песнь своему хозяину. “Панихида”, – подумала девушка. И не ошиблась.

Вениамин

Кофейная жижа поблёскивает, как мазут, в белой кружке. Официантка чуть слышно хмыкает, поворачивается, уходит. Чем-то недовольна. Что-то нужно было сделать из перечня бытового этикета, учитывая её возраст, внешность и фальшивую услужливость. Забыл что, не умею. Последний раз я улыбался, кажется, весной, когда в нашей коммуналке забился общий “толчок”, расцвела сирень, а полоумная соседка (в прошлом учительница) читала сантехнику “Незнакомку”.

Теперь уж давно не весна и не лето – конец октября. Стали как-то по-стариковски мёрзнуть ноги, липнуть пальцы от чрезмерного употребления сладкого кофе, которым я обычно согреваюсь здесь, в этом кафе, и наблюдаю за посетителями.

Себе я малоинтересен. (Кстати, я худощавый блондин с пшеничной бородкой, одетый в длинное поношенное пальто.) Но меня увлекает врождённая потребность – наблюдать за людьми, бегущими, прорывающими паутину повседневности, грезящими о чём-то своём, личном, хватающими медовые пряники на лету, с воздуха, или застревающими в этой паутине с широко открытыми глазами, с гримасой страха, как бы недоумевая.

Я смотрю на посетителей кафе как на гениальные полотна в какой-нибудь Третьяковской галерее, – долго и вдумчиво.

Все они – “маленькие люди”, но каждый из них заслуживает стороннего любопытствующего взгляда, хотя бы потому, что появился на этот свет, и поморщился, родившись, от этого света, и задумался, увидев то, что предстало под этим светом, и ослепнет от жизни, сомкнув очи, и не увидит больше этого света... Мне нравится наблюдать за непринуждённостью человеческого существа, инстинктивно ищущего мизансцены, предложенные ему незанятым пространством, вопреки тому главному, что должно его как минимум беспокоить, а в сущности – терзать и мучить: кто я, какого чёрта я здесь делаю и что вообще такое здесь со мной происходит? Но человеку свойственно уклоняться от опасных вопросов, тем более что перед его глазами всегда раскрыт спасительный “сценарий жизни”, написанный задолго до его рождения какими-то умными чуваками.

Возможно, я тоже с интересом бы изучил этот сценарий и стал, как говорится, жить-поживать и добра наживать, если бы не встреча с одним убогим человечком по имени Вениамин.

Впервые я увидел его здесь, в этом кафе. Он уверенно сидел за столиком, как завсегдатай, и перебирал мелочь, собранную за день. Своим занятием он чем-то напоминал женщину, которая с серьёзным лицом выбирает из риса мелкие камушки и суеверно откладывает их в сорную кучку. Его действительно можно было принять за женщину, если бы не белый пушок на щеках и не грязно-коричневые широчен-

ные брюки, гармошкой сползающие к убитым рабочим ботинкам.

Вот краткая история, найденная мной в архиве психоневрологического диспансера города *N*, описывающая центральное событие из жизни Вениамина.

“Вене было пять лет. Он сидел под столом и грыз сырой картофель. Его родители по обыкновению были пьяны. Завязалась ссора. В момент, когда бутылка с водкой, стоявшая на столе, покачнулась и устремилась на его голову, Веня держал в ней две мысли. Первая адресовалась отцу, чтобы доставить ему радость и побудить к примирению: здорово живёшь! – любимая присказка отца, когда тот пьяный возвращался домой. Вторая мысль относилась к матери, которая стояла на пороге, собираясь уйти навсегда, в ночь: мама, куда ты? Когда же недопитая бутылка опрокинулась на голову мальчика, мысли смешались в одну. Мальчик сильно поглупел после травмы и всю жизнь, встретив человека, задавал один-единственный вопрос: *куда ты живёшь?* Больше ничего не говорил, шурился на солнце, звенел мелочью и ждал человека, чтобы сказать ему то единственное, что он вообще был способен сказать, ибо после того случая его сковала немота, а разумом овладело созерцанье.

Записано со слов бабушки больного.

Лечащий врач Ф.Ф. Графومانов”

Я сидел на своём обычном месте, в углу помещения, по-

скольку отсюда удобнее всего наблюдать, и размешивал серебряной ложечкой кофе. Ложечку я всегда ношу с собой, надеясь встретить человека с хорошим вкусом, который бы заметил и восхитился чудным блистанием серебра на фоне задумчивого нищегорода в чёрном пальто. Но, судя по пойманным взглядам, такого человека рядом не было, кроме одного. Он с детским любопытством наблюдал за круговращением серебра в чёрной жиже, и, казалось, ему ничего не нужно было – только бы смотреть. Этим человеком был Вениамин.

На тот момент он уже успел подсчитать мелочь и купить себе борща, бледную котлетку с гарниром и кофе. Веня не касался еды, а всё смотрел на мою ложечку, моргая пустыми васильковыми глазами без ресниц. Наблюдая за ним, молоденькие официантки за стойкой сдерживали смех ладонями, показывали на Веню пальцем, но никогда не обижали убогого. Видно, в детстве они узнали о людях, обделённых природой, и боялись Бога.

– Нравится? – с кривой улыбкой спросил я его, как ребёнка.

– М-м-м, – промычал Веня и тоже улыбнулся.

“Идиот”, – подумал я про себя, запив неловкость двумя глотками сладкого кофе.

Нахлынула волна шумных посетителей из студентов, в лицо пахло осенней свежестью с примесью дальних костров и дешёвой девичьей парфюмерии. Официантки вмиг разбе-

жались, дав мне возможность без лишних глаз обдумать случившийся конфуз. Я всегда обдумываю случившееся, даже всякую мелочь, – если меня кто-нибудь ошибочно окликнет в толпе или, скажем, если вместо пяти пальцев у человека вдруг окажется три. А где другие два? Или – почему именно меня сочли за кого-то своего, а не кого-нибудь другого?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.